

ИЛЛЯ КОГАН

ЛЕСНАЯ, 27

ЭПИЗОД 1-й

ЗАПИСКИ СТАРШЕГО АДМИНИСТРАТОРА

— *На золотом крыльце сидели царь, царевич, король, королевич...*

Тьфу, ты! Вот привязалась ко мне эта считалка! Твержу ее от самого метро!

Я аж головой помотал, чтобы отогнать назойливое двестишье. Хорошо еще, что трамвай зазвенел рядом. Прогрохотал — словно ветром голову продуло. Сразу сделалась пустая-пустая, только одна мысль пугливо плескалась на донышке сознания: — Что-то будет? Что-то будет?

Теперь прозвенел встречный трамвай. И я понял, что пришел. Вот она — Лесная, 27. И вывеска рядом с дверью: «КИНОСТУДИЯ МОСНАУЧФИЛЬМ».

Надо набраться мужества и толкнуть дверь. Но ноги не хотели слушаться, а в голове снова застучали-затикали прилипчивые слова: *-...царь, царевич, король, королевич, сапожник, портной. Кто ты такой?*

А в самом деле, кто я такой? Мне двадцать три года, за спиной у меня хорошая школа в Кунцеве, четыре года учебы на экономическом факультете ВГИКа, семь месяцев работы на Сталинобадской киностудии — заместителем директора картины. Картина называлась «Я встретил девушку». Это та, где песня с тем же названием — «...на щечке родинка, а в глазах любовь».

Работник из меня был, конечно, никакой: вечно опаздывал, организаторских способностей днем с огнем не просматривалось. Так что студия отпустила меня домой без сожаления. Только позже я понял, какая у меня была неповторимая жизнь: на крыше, можно сказать, мира, с криками ишаков по утрам, с горячими лепешками из тандыра, с запахом шашлыков и лаванды и с дикой ностальгией — тоской по России. Знал бы я, что в России мне предстоят долгие поиски работы — специальность «киноэкономист» в дипломе вызывала у всех работодателей единодушное недоумение: что это за фрукт, и с чем его едят? Пришлось решиться на отчаянный шаг и позвонить Михаилу Васильевичу Тихонову — директору студии «Моснаучфильм». То-то он, наверное, обрадовался, узнав, что недавний его Вгиковский студент просится к нему на работу. Я, конечно, не стал признаваться, что на его лекциях развлекался чем угодно, только бы не слушать монотонное бормотание скучного преподавателя, и что студию «Моснаучфильм» я считал задворками киноиндустрии.

Странное дело, Мих. Вас, как его называли на студии, меня не послал, а велел звонить в конце месяца. Я и звонил. В конце месяца, потом — в начале. Потом — снова в конце. И вот, наконец, в июле он велел приходить завтра.

Я и пришел. Только ноги не слушались, а в голове крутились золотое крыльцо и целая компания посидельцев: ...*царь, царевич, король, королевич, сапожник, портной*... Трамваи со звоном дребезжали мимо, у ног вертелась лохматая собачонка. Она пару раз твякнула, посматривая то на дверь, то на меня: — Чего, мол, стоишь дурак дураком? Давай, открывай!.. Я и открыл -толкнул дверь, и собачонка деловито прошествовала в нее.

— А, Кабыздох явился! — приветствовал нас густой бас. Могучего вида вахтер критически заглянул в мой паспорт: — К директору, значит? Ну, ну... Пропуск не забудь отметить на выходе!

Собачка уже крутилась у другой, внутренней, двери. Я толкнул ее, и Кабыздох ввел меня во двор киностудии.

Это был двор. В полном смысле этого слова. Стояли скамейки. Сидели мужчины и женщины замоскворецкого вида. Дымили «Беломоринами». Смачно сплевывали в урны. Смеялись шуткам друг друга. Травили анекдоты. Только домино не хватало для полноты картины.

— О, смотрите! Смотрите! — повернулись головы в мою сторону. — Кабыздох вернулся!.. Где пропадал, бродяга!..

— Иди сюда, шлемазл! — позвал кто-то. — Колбаску дам!

Собачка вдруг встала на задние лапы и заковыляла к мужчине с перечеркнутым шрамом лицом. Только теперь я понял, что общий интерес относился не ко мне. Люди на скамейках радовались псине. Меня они словно бы и не видели. Ну и хорошо — не больно-то надо.

Я поднялся на низкое крылечко, собираясь войти в здание студии. Но тут дверь распахнулась навстречу, и из нее вытолкали потерханного вида человечка в расхристанном пиджаке. Он тут же стал рваться обратно.

— Пустите меня! — вежливо кричал он. — Михвас — человек! Михвас мне не откажет! Что для него тридцать рублей!

— Петя! — урезонивали вытолкавшие его мужчины. — Не дури! Иди лучше пропись!

— Душа горит! — со слезой в голове пожаловался человечек. — Э!.. — безнадежно махнул он рукой. — Разве вы поймете!.. Вот Эйзенштейн понимал! И Пудовкин понимал! А вы!..

Он вдруг снова рванул в дверь.

— Михвас! Тридцатку до зарплаты! — кричал он, прорываясь сквозь заслон. Его остановил зычный командный голос:

— Уточкин-Маслов, не позорь профессию! Иди домой! Мало тебя гоняли! И с «Мосфильма»! И со «Студии Горького»!

— Еще и с «Межрабпомофильма»! — с гордостью уточнил сразу присмиривший человек. — Ваша правда, Вла-Вла-Влад-мир Адольф-в-в... товарищ Шнейшнейдеров! — с трудом выговорил он. — Вы благородный человек! Сразу видно русского интеллигента! — благодарил он, принимая из рук «товарища Шнейдерова» заветную денежку.

Я не стал досматривать представление и на трясущихся ногах поднялся на второй этаж. «Что будет? Что будет?» крутилось у меня в голове. — «Возьмет ли меня Тихонов? Или отправит восвояси?». Не скажу, чтобы увиденное во дворе вдохновило меня. Но разве у меня был выбор?

Секретаршу директора, как я потом узнал, звали Любовь Львовной. Она грузно сидела на узком для нее стуле.

— Кто там безобразничает? — спросила она, после того как я представился.

— Какой-то Уточкин, по-моему...

— Просто Уточкин?

— Нет, Уточкин-Маслов...

— А то у нас Уточкиных двое, — любезно пояснила она. И укоризненно покачала головой: — Ах, Петя, Петя! Во что превратился человек! А ведь не последний в кино...

Любовь Львовна велела мне подождать и прошла в кабинет директора. Сердце мое вздрогнуло. «Возьмет или не возьмет?». И помимо своей воли я стал твердить заветную считалочку: *«На золотом крыльце сидели царь, царевич, король, королевич...»*.

— Пройдите в кадры к Паше Андрееву! — возвестила, выходя из директорского кабинета секретарша. — Он вас оформит.

«Уф!.. король, королевич, сапожник портной...» — крылья вынесли меня в коридор. За дверью с табличкой «Отдел кадров» меня приветливо встретил симпатичный и молодой еще человек.

— К сожалению, — проговорил он, проглядывая мои документы, — сейчас свободна только должность старшего администратора.

Я только головой кивнул: все-таки старшим администратором быть лучше, чем безработным. Я написал заявление и заполнил длинную анкету.

— Погуляйте во дворе! — предложил мне любезный Паша. — А я получу резолюцию директора.

«А вдруг Тихонов за это время передумал?» — беспокоился я, спускаясь во двор.

Во дворе очень миловидная девушка усаживала довольного жизнью Уточкина-Маслова в открытый операторский ЗИС.

— Всем спасибо! — кивал он направо и налево. Потом поднял руку, согнутую в локте. Я думал, он хочет помахать всем на прощанье. Но нет, из рукава к его рту скользнуло горлышко винной бутылки. Сделав пару приличных глотков, Уточкин-Маслов дружески похлопал водителя по плечу:

— Вася, трогай помаленьку! Только без рывков!

Закрытая пробкой бутылка успокоилась в рукаве пиджака.

— Инна! — произнес солидного вида мужчина, которого пьяный Петя назвал «товарищем Шнейдеровым». — Что, другой машины не нашлось? Закрытой?

— Нет, Владимир Адольфович! — ответила очень миловидная девушка. — Все в работе. Спасибо, что такую дали!

Она слегка вразвалочку прошла к воротам, словно желая убедиться, что ее подопечный действительно покинул поле боя. «Товарищ Шнейдеров» проводил ее долгим взглядом.

— Удивительное дело! — сказал он негромко, обращаясь к тесно обступившим его слушателям. — Красивые женщины, а ходят... Нет, ну в самом деле, как будто их женские органы вывалились наружу и волочатся по земле, а они наступают на них.

Слушатели почтительно похихикали, а я вспомнил: «Шнейдеров... Шнейдеров... Это же тот, кто сделал «Джильбарса» — мировой фильм моего детства! Мы с отцом смотрели его еще до войны... Надо же — живой классик!

Но тут Паша Андреев положил руку мне на плечо.

— Все в порядке! — сказал он, легонько подталкивая меня в сумрачную даль двора. — Михаил Васильевич подписал!

И он показал мне резолюцию директора: «Оформить». И завитушку подписи.

— Правда, на два месяца, — добавил Паша. И тут же успокоил: — Пока. Такой порядок...

В животе у меня противно заныло. «Все не слава богу», как сказала бы моя мама. Мимо нас прошла женщина, дымящая папиросиной, как паровоз.

— Абаева! — окликнул ее кадровик. — Ты почему творческую карточку до сих пор не сдала?

— Сдам! Сдам! — досадливо отмахнулась женщина. И почему-то сочувственно посмотрела на меня. А Паша Андреев, дружески обнимая за плечи, сладким голосом обещал мне райскую жизнь в прекрасной группе, с командировкой

«Хороший человек!» — благодарно думал я. — Я же ему никто и ничто, а он вон как меня опекает! Повезло!».

Почему-то женщина с папиросиной не поделила мои восторги.

— Садись! — подвинулась она на скамейке, когда Паша отпустил меня. И протянула крепкую, почти мужскую ладонь. — Аня Абаева! Директор картины!

Я назвал свое имя и коротко рассказал о предыдущей работе. И честно признался, что боюсь опростоволоситься на новом месте.

— Не дрейфь! — успокоила меня Аня. — Не съедят! Главное, запомни: первый год надо работать на имя, а потом имя будет работать на тебя! И еще... Держись подальше от Пашки Андреева! Если, конечно, тебя не тянет к мужикам...

— Меня?.. — Я мучительно покраснел. До сих пор при любом намеке на возможность «таких» отношений, у меня к горлу подступала легкая тошнота.

— Миша! — замахала вдруг рукой Аня Абаева.

— Анечка, привет! — ответил ей с крыльца молодой человек примерно моего возраста, но гораздо выше и симпатичнее. Он возился с камерой, установленной на штативе, что-то чистил замшевой тряпочкой внутри.

— Ты помнишь, что завтра съемка? — строго спросила Аня.

— Готовлюсь, — коротко ответил Миша.

Аня познакомила нас. Но поговорить не удалось, потому что на крыльцо вышел, как сразу же выяснилось, Мишин шеф.

— Миша! — стал он занудливо приставать к Камионскому. — Рамку надо держать за ребра — пальцы же жирные.

— Хорошо, Виталий Витальевич! — соглашался ассистент.

— И продуйте спринцовкой каждый уголок — не дай бог волосок пристанет!

— Есть, Виталий Витальевич!

— И не забудьте проявить кончик вчерашнего материала!

— Будет сделано, Виталий Витальевич!

Я уже тогда поразился выдержке и почти военной четкости Миши. Я не знал еще, что он только что вернулся из армии. И что он три года прослужил в танковых частях в Германии. Те самые годы, что я провел во ВГИКе.

Ну вот. Если вы дочитали до этого места, должен признаться, что написанное выше я выдумал. Не совсем, конечно. Все это было, но в другое время и не обязательно в одном месте. Просто моя память прихотливо соединяет схожие случаи и детали в одну картину, причудливо отражающую впечатления первого года моего пребывания в месте, которое станет центром маленькой вселенной на следующие сорок лет моей жизни. Было все: и собака Кабыздох, и голуби, воркующие на крышах студийных пристроек, и ассистенты, ковыряющиеся в потрохах своих камер, и гул голосов над тесным двором, и лица, которые смотрели на меня то с интересом, то с безразличием. И был медленный перевод фокуса, выделяющий из общей массы дорогих мне людей, которые все еще живы, потому что я их помню. Моя память подобно Феллини выстраивает хоровод из знакомых фигур. Звучит нежная музыка Нино Рота, и плывут вокруг меня мужские и женские лица. Здравствуйте, Валентина Яковлевна! Здравствуйте, Борис Генрихович! Добрый день, Аркадий Вениаминович! Привет вам, Володя Рыклин! И Олег Краснов! И Нина Марковна! И Виктор Миронович! Все, все, кто был рядом со мной в труде и досуге, кто учил меня мудрой науке жизни, кто помог мне найти свое место в этом прекрасном и яростном мире. Здравствуйте! Я пришел.

На улице по-прежнему звенели трамваи. Торопились прохожие по своим делам. Мало кто обращал внимание на примелькавшуюся вывеску «КИНОСТУДИЯ МОСНАУЧФИЛЬМ». И на меня, к которому эта вывеска теперь имела самое прямое отношение.

Было 5 июля 1957 года.

Этот год называют самым радужным, самым карнавальным из всех советских лет. Еще звучало эхо хрущевской речи на партийном съезде. Еще не вошло в обиход слово «Оттепель», но уже возвращались из лагерей невинно осужденные. И распускались робкие листочки надежды на нормальную жизнь в нормальной стране.

На улицах появились первые «стиляги», на домашних концертах запели свои первые песни Визбор и Окуджава. В Москве началось массовое строительство панельных зданий, люди получали жилье в неведомых Черемушках и Кузьминках. А в конце июля должен был состояться Всемирный фестиваль молодежи. По этому случаю в продажу были выброшены гедеэровские клетчатые пиджаки, яркие галстуки и чешские «корочки на микропорочке». Короче, ожидался праздник.

К сожалению, погулять на этом празднике мне не пришлось. Июль и август я провел в экспедиции — в городе на Неве.

Из письма жене:

11.07.1957 г.

Итак. Доехал я благополучно, разыскал группу и тут же принялся за работу — мы поехали по объектам. Потом отправились на студию — выколачивать аппаратуру, Достали ее на Техфильме. Вчера и сегодня снимали на заводе «Электропульт» — на окраине города. О работе пока еще рано говорить, но ничего нового по сравнению со Сталинобадом нет. Занимаюсь все тем же, те же заботы и та же беготня.

Группа у нас, вроде бы, неплохая. Директор спокойный. Достается ему пока что немало. У меня еще неприятностей не было, но жду — нельзя же без скандалов.

Честно говоря, в письме жене я не стал вдаваться в подробности. Главная из них была та, что я застал свою группу в холле гостиницы «Ленинградская». Они сидели на коврах с камерой и пленкой, а оператор Чернявский брызгал слюной.

— Нет, вы посмотрите, какая дикость! — приветствовал он меня. — Видите ли, завтра ожидается наплыв финнов. И нас всех выгнали на улицу!

В соседней Финляндии алкоголь выдавали по карточкам, и на выходные жаждущие финны приезжали в гостеприимный для них город и напивались на неделю вперед — до посинения.

— А где Алексей Александрович? — робко спросил я, имея в виду директора картины.

— Деликатно удалился, — ответил за всех режиссер Левит-Гуревич. — Приказал не волноваться. Легко сказать!

— Пошел в гостиничный трест, — вступилась за директора ассистентка Ада.

— А... — махнул рукой режиссер. — Кому мы там нужны! — Вот что! — обратился он ко мне. — Надо идти к здешнему директору и брать его за горло!

И я пошел. Это же была моя работа: обеспечивать группу жильем. Я встал у директорской двери и каждый раз, когда он проходил мимо, делал скорбное лицо: смотрите, мол, как пропадает моя молодая жизнь! В конце концов, директор велел принести матрацы и уложил нас на ночь в своем кабинете. Я спал на бильярдном столе, и до самого утра по мне катали шары. Так мне казалось.

На следующий день мы перебрались в гостиницу «Октябрьская». Хорошее место — на площади у Московского вокзала, в самом начале Невского проспекта. Алексей Александрович все-таки молоток. Нашел в гостиничном тресте нужную дверь.

Меня поселили в номере с оператором Чернявским.

— Вы не храпите? — первым делом спросил он меня. — А со мной бывает.

Впрочем, он оказался милым человеком. Чем-то напоминал моего киевского дядюшку. Тот же легкий акцент и то же библейское принятие мира в глазах.

— Режиссер может прыгать до потолка, — любил повторять он чью-то мысль, — Все равно в кадре будет то, что снимаю я.

В первые же дни я узнал, что Владимир Львович в незапамятные времена окончил Государственный техникум киноискусства, и что на нашей студии он снимает с довоенных лет. Был фронтовым оператором, поставлял материал для киножурнала «Новости дня». И что у него растет сын, который с детства увлекается фотографией и кукольным театром.

— Кончит школу, придет на студию, — надеялся Владимир Львович.

В этой экспедиции ему приходилось несладко. Картина была об электрификации, так что снимать надо было в больших цехах и в лабораториях, где все гудело от напряжения. А в довершение всего ассистентом оператора была девушка Лида. Хорошая девушка, только почему-то все дни у нее были критическими.

Помню, как она заявляла директору, укладывая камеру в кофр.

— Тяжести мне сегодня таскать нельзя!

— Это почему же?

— Сами знаете!

— Подсобных рабочих ассистенту оператора не положено! — оборонялся Алексей Александрович.

— Объясните это женскому организму! — наступала Лида.

— А нечего женщине делать в мужской профессии! — выходил из себя обычно деликатный директор.

Так они препирались до тех пор, пока сердобольный Владимир Львович, кряхтя, не поднимал штатив. Я подхватывал камеру — а что мне оставалось? — и мы дотаскивали аппаратуру до проходной.

— Зря пыжишься! — выговаривала мне Лида в гостинице. — Пусть он нанимает рабочих!.. Или платит мне отдельно!

Вот оно что! Я не знал, на чью сторону стать в этих дразгах. И невольно вспоминал съемки в Сталинобаде, когда я бегал из одного угла декорации в другой, от режиссера Перельштейна к оператору Кулишу. И уговаривал их вернуться на площадку.

— Передай этому!.. — цедил сквозь зубы режиссер.

— Скажи тому! — посылал меня оператор. А работа стояла.

Здесь, конечно, было не так. И все-таки напряжение чувствовалось. И не только в отношениях между директором и Лидой. Не ладил и режиссер со своим ассистентом.

Аду прислали в Ленинград, не спрашивая согласия Левит-Гуревича. Он хотел тут же отправить ее обратно, но замены на студии не было. Пришлось смириться, но раздражения режиссер не скрывал.

— Где вы вечно пропадаете? — приставал он к Аде. Или наоборот:

— Что вы несетесь, как на пожар! Камеру собьете!

А коронным вопросом было:

— Ада, почему такие мятые комбинезоны? Мне что — съемку отменять!

О да! Этот урок я усвоил на многие годы: В группе, снимающей на заводе, обязательно должны быть новенькие комбинезоны и береты! Нельзя же снимать передовиков производства в их обычном рванье. Не помешают и баночка краски с кистью — прикрыть ржавчину на агрегатах.

А агрегаты были, дай боже! На заводе «Электросила» мы снимали сборку турбины для строящейся Волжской ГЭС. Ну и махина, скажу я вам! Больше девяти метров в диаметре! Какая же сила нужна, чтобы раскрутить эту громадину!

В общем, было на что посмотреть. Жаль только, что я был далек от техники.

Зато режиссер!.. Мне казалось, только он один понимал, для чего мы снимаем все эти генераторы, трансформаторы, модели гидросооружений, приборы телеуправления и автоматики.

Меня поражало, с какой легкостью он общался с инженерами и рабочими консультантами. Он говорил с ними на одном языке. Сыпал терминами и цифрами. Нет, не зря на студии Семена Марковича Левит-Гуревича называли «дважды евреем Советского Союза»!

Вот только его привычка ковыряться, пардон, в носу. Это что — еврейская традиция, что ли?

Я почему так спрашиваю? Много лет спустя мне довелось гостить у троюродных племянников в городке под Иерусалимом. Городок был населен религиозными евреями и славился самой большой на Ближнем востоке спортивной площадкой. Но главное, отсюда было всего двадцать минут на автобусе до ворот Старого города.

Весь день я болтался по Святым местам. Дважды побывал у Стены плача. И вечером, усталый и счастливый, засобиравшись домой. В автобус я вошел вслед за молодым хасидом. Мы сели рядом, и он тут же достал из кейса пудовый том. Тору? Или Талмуд? И стал качаться и шепотом причитать над ним. И остервенело ковырять в носу... И ковырял всю дорогу. А пересесть я стеснялся. Может, это ритуал такой... Кто их, хасидов, знает...

Все бы ничего, да только на второй день я опять оказался в автобусе рядом с хасидом. Правда, на этот раз пожилым. Но он также всю дорогу прилежно кланялся увесистому тому и шептал молитвы. И также... что делал? Правильно: ковырял в носу!

Из письма жене:

26.07.1957 г.

Снимали эти два дня так называемый «каскад» — специальную исследовательскую линию передач. Съёмки были вечерние — в темноте снимали влияние грозовых разрядов, пробиваемость линии. Место глухое, обнесённое сплошной каменной стеной с колючей проволокой, согнали нас в кучу, пересчитали и не велели шевелиться. Потом включили напряжение, все кругом загудело, заворчало, засверкали огоньки, искры, огненные стрелки побежали и начали рассыпаться, а потом из специальной 5-тиметровой иглы в двух шагах от нас стала в землю бить молния. Чудное зрелище! Потом снимали такие же разряды с большого концентрического кольца — разрядника. В темноте с пушечным грохотом стекали на землю самые настоящие молнии — прямо рядом с нами. Электричества в воздухе стало столько, что у всех буквально волосы вставали дыбом — начинали шевелиться. И весь вечер у меня сердце болело, да и другие жаловались на недомогание и нервы.

На следующий день обнаружилось, что ассистентка Лида засветила всю отснятую пленку. Не нарочно, конечно. Может быть, электрическое поле так на нее подействовало? Скандал был грандиозный. Директор грозился вычестить стоимость пленки из ее зарплаты. А стоимость пересъемки?... Хорошо еще, что теперь нам удалось уложиться в один день.

После пересъемки Семен Маркович заявил, что с него хватит. Дело том, что у нас до сих пор не было сценария. Вот мы и снимали, можно сказать, «наугад» — по режиссерскому наитию. К тому же без сценария директор не мог составить смету на производство, и мы существовали милостью божьей и главного бухгалтера студии. Милость была минимальная, деньги переводили скупой и с задержками. Мы уже проели режиссерскую «заначку» и приканчивали все, что было у Ады. И Левит-Гуревич засобирался в Москву. Выбивать сценарий.

— Вытрясите из них душу! — напутствовал его оператор Чернявский. И добавлял — уже для меня:

— Сумасшедший дом!.. Нет, после Ленинграда я с этой картины уйду! Хуже, чем на войне! Никакого здоровья не хватит!

Узнав об отъезде режиссера, Ада тоже засобиралась.

— Съезжу на пару деньков! — делилась она со мной. — С дочкой увижусь! И ку-сочек фестиваля захвачу!

— У тебя же денег нет, — урезонивал я ее.

— А!.. — Она только рукой махнула. — Какнибудь!..

В это время в Москву уезжала одна из студийных групп. Мы с Адой пошли ее провожать. Было много суеты с погрузкой съемочной аппаратуры. Вот в этой суматохе Ада и забралась на верхнюю, багажную, полку. Ее прикрыли штативом в чехле. И она уехала.

Вернулась Ада через два дня. Вся какая-то просветленная.

— Ты не можешь представить, что это такое! — восторгалась она. — Москву не узнать! Весь город на улицах! Все поют, смеются, обнимаются! Кремль открыли! Парки бесплатные! Милиции почти не видно! Гуляют всю ночь! А девушек вообще домой не загонишь — словно с цепи сорвались! Праздник! Даже песню специально к фестивалю сочинили!

И она запела приятным голосом:

— *Если б знали вы, как мне дороги
Подмосковные вечера!*

Мы плыли на катере по Неве — мимо боевых кораблей, вошедших в реку по случаю предстоящего Дня Военно-морского флота. Красивое было зрелище.

— А что дома? — перебил я Адины восторги. Она сразу поскучилась.

— Дочка прелесть! А вот Саша... — вздохнула Ада.

И призналась, что Саша недавно вернулся из долгой экспедиции на Камчатку. И что она чувствует: «что-то там было».

— Какой-то он далекий... — жаловалась Ада.

Она взяла с меня слово, что ни одной душе на студии я не протреплюсь, и призналась, что потребовала от него объяснений. Саша бил себя в грудь и твердил, что семья для него святое.

Грустно мне было. Я ведь знал эту пару еще по ВГИКу. Я учился на первом курсе, а они на четвертом. Запала в память почему-то сцена в гардеробе: Саша галантно подавал Аде пальто. Прямо картинка из жизни джентльменов и леди. Завистливо далекая для дикаря из подмосковного Кунцева.

А потом мы пошли в кино. И всю дорогу болтали о своих супругах, о семейных проблемах, о родителях. Обычное дело: долгое пребывание в экспедиции побуждает к взаимной откровенности, развязывает языки. Зато на студии мы забываем о дружеской

близости и даже перестаем замечать друг друга. Так произошло и у меня с Адой. Она стала со мной «на вы» и, по-моему, даже забыла, как меня зовут.

Кто же знал, что спустя тридцать лет мы снова будем работать вместе. И встречать рассвет у стен Оптиной пустыни, и смотреть, как юные монашки в черном моют белые-белые ножки в курящейся туманом реке. И как солнце золотит купола церквей. А еще через пару дней будем слушать звоны Ростовского кремля, и ловить свои отражения в темных водах озера Неро.

Из письма жене:

12.08.1957 г.

Фестиваль кончился, и многие его участники по пути домой заезжают в Ленинград. Через нашу гостиницу прошли уже толпы иностранцев. Вчера были немцы, пели песни, кричали «Хох!», сегодня — чехи и французский джаз-оркестр.

Нет денег, да и билеты на этот джаз не достанешь. А жаль.

Смотришь на иностранцев и стыдно за себя — на фоне аккуратно одетых, подтянутых чувствуешь себя провинциалом: ботинки-уроды, рубашки мешком висят (да и надоели мне эти китайские рубашки — вечно топорщатся, лезут из брюк, как парусина). Сегодня девчонки зашли вместе с горничными в номер одной француженки из джаза, когда ее не было, конечно. Рассказывают чудеса: шкаф набит платьями, обуви — пар 12, в ванной — десятки пузырьков и коробочек, даже туфли пахнут чем-то приятным. Пока ее не было, все коридорные и горничные примеряли ее платья и туфли. Дикость!

25.08.1957 г.

Прошлым вечером я зажег свет в Ленинграде. Я стоял на куполе Исаакиевского собора с телефонной трубкой в руке. Оператор замерял освещенность экспонометром. Когда она стала такой, как надо, Владимир Львович сказал: — Пора!.. Семен Маркович скомандовал: — Камера!.. А я закричал в трубку: — Включайте Литейный!.. Ленэнерго услышало. И цепочка огней протянулась к подножию собора.

— Вознесенский! — кричал я в трубку. — Канал Грибоедова!.. Садовая улица!..

Ленинград расцветал огнями. Выступали из сумрака проспекты и улицы. И под конец я взволнованно объявил: — Невский!

И светящаяся река потекла через город.

Знаешь, я чувствовал себя чуточку богом. Да будет свет!..

Съемки затягивались. И директор попросил студию о продлении командировки на сентябрь. В ответ пришла телеграмма, где перечислялась вся съемочная группа, кроме меня. Это был тот еще сюрприз! Значит, мои два месяца истекли, и работа на студии закончена? Группа была расстроена — по-моему, искренне. А мне отчего-то было стыдно — словно я отщепенец какой-то. Во всяком случае, я должен был возвращаться в Москву.

Так уж повелось, что киношные командировки называют экспедициями. Что-то в этом есть — мы выезжаем основательно и надолго. И потом, если говорить высоким слогом, мы тоже в некотором роде открыватели. Как геологи или путешественники прошлых времен. Вот и сейчас мы открывали зрителю строительство канала Северский Донец — Донбасс. Канал должен принести воду на сухие земли «Всесоюзной кочегарки». Их изрыли шахтами, а потом удивились: куда делись подземные воды? Гномы увели!

Как в любой экспедиции, я крутился, словно белка в колесе. А ведь я еще не отошел от Ленинграда. В Москве пробыл всего несколько дней.

— Не продлили командировку? — удивился Паша Андреев. — Просто забыли про тебя... Испытательный срок? Да прошел, прошел! Иди, получай удостоверение!

Я получил свои красные «корочки»... и направление в новую экспедицию. Напрасно я просил вернуть меня в «мою» группу.

— Ты солдат! — заявил мне заместитель директора Варенцов. — И должен служить там, куда тебя назначают! — И привычно прикрылся газетой, помешивая чай в стакане.

Вот я и служил. Мотался вдоль канала, «выбивал» транспорт, перевозил группу из Артемовска с Горловку, а оттуда в Славянск, устраивал жилье, старался сэкономить казенные деньги и пленку и с горечью сознавал, что перерасхода не избежать.

А еще все свободное время спорил с оператором. Хорошим человеком был Поликарпов. Только уж больно «советским». До мозга костей. А я все еще жил откровениями XX-го съезда. Советская история представлялась мне сплошным черным пятном, и я этого не скрывал.

— Колхозы? — кипятился я. — Да это же сплошной обман! Отобрали у крестьян землю и заставили трудиться за «галочки»!

— А «раскулачивание»? Сгноили в Сибири самых старательных и умелых! А теперь сидим без хлеба!

Доставалось от меня и нашим техническим «достижениям».

— Хрущев же прямо сказал, что наши автобусы — плохая копия давно устаревших американских! А допотопные паровозы?

— А «Москвич»? Это же «цельносодранный» «Опель-кадет»!

— Да вы же чуждый элемент! — защищал страну Поликарпов. — Вам ничего здесь не дорого!

Наши препирательства напоминали мне споры с тещей. Она всю жизнь проработала на Электроламповом заводе. Была «красной косынкой». На всех собраниях ее выдвигали вперед, и она от лица рабочего класса заявляла о всеобщей поддержке очередного Займа восстановления и развития.

Иначе, как «контрой» она меня не называла.

Иногда я обращался за поддержкой к Олегу — ассистенту оператора. Молодой парень должен был разделять мои взгляды, казалось мне. Он и разделял. Иногда. А иногда отмалчивался. Все-таки Поликарпов был его шефом.

К моему удивлению Олег был сыном парикмахера. А я-то думал, что на студии все из интеллигентных семей. Только мой отец всю жизнь проработал продавцом. Оно и чувствовалось

Как-то раз я вошел в студийный двор с газетой в руке. Не то с «Литературкой», не то с «Комсомолкой».

— Что читаешь? — спросил меня ассистент режиссера Саша Бланк.

— Да вот — бред какой-то! Смотри!

И я насмешливо прочитал:

— Я — Гойя!

*Глазницы воронок мне выклевал ворог,
слетая на поле нагое.*

Я — Горе.

Саша почему-то не засмеялся.

— Это же Андрюша Вознесенский! — укоризненно произнес он. — Сейчас вся Москва его читает!

Вон оно что. А я еще считался школьным поэтом. И на выпускном экзамене читал свои стихи. Как юный Пушкин... Оказывается я ничего в поэзии не понимаю.

Я отошел в сторонку и еще раз перечитал стихотворение:

— Я — голос

*Войны, городов головни
на снегу сорок первого года.*

Я — голод.

Значит, вот как надо писать стихи! Ну, нет, я так не сумею! А в голове колокольным звоном гудело:

— Я — горло

Повешенной бабы, чье тело, как колокол,

было над площадью голой...

Я — Гойя!

И это осталось со мной на всю жизнь. И когда поэты собирали стадионы, и когда пели барды, и когда их всех заглушил дрязг металлического рока:

— Я — Гойя!

— О, грозди

Возмездья! Взвил залпом на Запад —

я пепел незваного гостя!

И в мемориальное небо вбил крепкие

звезды —

Как гвозди.

Я — Гойя.

— стыдно! — укоризненно сказал Саша.

— стыдно! — согласился я.

(Кстати, Саша Бланк вошел в историю кино популярным фильмом «Цыган», который годами крутили по телевидению).

В Москве я сразу же получил новое назначение. На этот раз недалеко — всего лишь на московскую окраину. Выбирать не приходилось. Я сел на трамвай №5 и потрохал в замызанную деревушку Черемушки. Ехал, ехал — аж устал от мелькания пустырей, садов, огородов и скупых осколков леса, желтых от осени. Выйти из трамвая оказалось непросто — кругом колыхалась непролазная грязь. Редкие прохожие балансировали по хлипким мосткам, а мимо с чавканьем проплывали машины с бетонными панелями. Зато вдоль горизонта сверкали окнами новенькие пятиэтажки. Сказка среди дремучего бездорожья.

Свою группу я нашел по студийному автобусу, прикорнувшему у подъезда. И первым, кого я встретил, был знакомый мне ассистент оператора Миша. С очумелым видом он влетел в автобус.

— Экспонометр забыл! — крикнул Миша на ходу. *— А без него!.. Что ты — второй день туалет снимаем!*

Я уже все понял. Оператором был тот самый Виталий Витальевич, которого я видел на студийном крыльце. Копуша из копуш. Про него рассказывали, как он однажды снимал петуха. Так долго ставил свет, что бедный кочет задымился и упал замертво. И запахло жареным.

Съемка проходила в квартире, обставленной новенькой мебелью. Оказывается, дом предназначался для знатных рабочих, и их селили, как говорится, на все готовое. А в соседнем доме располагался магазин, где по недорогой цене передовикам продавали дефицитные импортные гарнитуры.

Командовал им Мишин приятель Шура Шик, недавно окончивший Институт Внешней торговли (был тогда такой). Видно, другой заграницы, кроме богом забытых Черемушек, для Шуршика не нашлось. Мы ходили по его магазину, как по музею: денег на эту мебель у нас не было, да и ставить ее было некуда.

Особенно разгуливать не приходилось. Докучливый Виталий Витальевич без конца дергал ассистента.

— Миша! Свяжите ножки штатива!

Штатив стоял на керамических плитках, и ножки могли разъехаться.

— Миша! Помажьте кафель вазелином!

Кафельные стены бликовали — лучики «стреляли» в объектив.

— Миша! Промерьте расстояние до объекта!

И Миша тянул рулетку от камеры к объекту — белоснежному унитазу. Как будто и так не было видно, что до него полтора метра.

— Сколько же здесь белого! — сокрушался оператор.

А режиссер Антиповский тем временем знакомил меня с подробностями своей биографии:

— Михвас входил в мой кабинет на цыпочках и всю дорогу до стола почтительно кланялся: «Вы же наш человек, Павел Иванович! Вы должны войти в положение!»

Это была фантастическая история. Простой ассистент режиссера в один прекрасный день был выдернут с киностудии «Моснаучфильм» и назначен заместителем начальника главного управления. Заправлял всем неигровым кино. Видно, «входил в положение». Потому что, когда его так же, в одночасье скинули, Михвас вернул Антиповского на родной «Моснаучфильм» — но теперь уже в качестве режиссера. И он стал крупным мастером «строительного» кино.

А вторым режиссером на картине оказался Уточкин-Маслов. Тот самый, которого в день моего оформления не пускали к директору. Делать ему особенно было нечего. Вот он и приставал к Антиповскому:

— Павлик, ну давай я схожу! Я быстро — одна нога здесь, другая там!

— Петя! — урезонивал его режиссер. — Сиди!

— Павлик! Жизнь же зазря проходит!

— Куда он рвется? — спросил я у Миши.

— Как куда? — удивился он. — Не понимаешь? За бутылкой!

Вот теперь удивился я:

— На съемке?..

Иногда Уточкину удавалось уговорить режиссера. И тогда они скрывались на кухне. И Антиповский продолжал работать благостным и умиротворенным. А в «трезвые» дни он бывал мрачным, как сыч.

Вот когда я узнал, каким разным может быть человек. И поэтому не удивлялся, когда через пару лет снова оказался в одной группе с Антиповским, перепадам его настроения. Цедит слова сквозь зубы, значит трезв. А «принял» — и душа-человек.

Благодушный, разговорчивый и компанейский. Мог подружиться на улице с первыми встречными, затащить их в номер и гулять до утра. Правда, расхлебывать историю приходилось мне.

— Что он себе позволяет! — возмущалась директриса гостиницы. — Выскакивает совсем голым и кричит: «Вот он я!»... Пишу письмо на вашу студию!

Только этого мне не хватало. Кто отвечать-то будет за режиссера?

— А что же! — оправдывался Павел Иванович. — Сплю я себе, вдруг в номер вваливаются какие-то тетки, давай проверять зеркала и графины. Да еще талдычат: «Никого нет! Никого нет!»... Вот я им и открылся: «Как никого? А я?».

Да, приходилось становиться адвокатом.

— А что вы хотите! — наступал я на директрису. — Спит себе человек, и вдруг без стука в номер вламываются посторонние. Вот он с перепугу...

В общем, подействовало.

Что еще вспоминается мне о той осени в Черемушках?.. Второй оператор Юра Ляхович. Оператором он стал недавно. А до этого работал студийным фотографом.

— Чепуха какая-то! — жаловался он. — Считается, что я такой же оператор, как он. А Виталий Витальевич меня и близко к камере не подпускает!

Все изменилось, когда пришлось снимать панораму строительства. Для этого пришлось лезть на крышу десятиэтажного дома. Виталий Витальевич сразу занедужил.

— Юра! — заявил он. — У вас прекрасная возможность показать себя!

На лифте нас подняли на верхний, технический, этаж. Через люк выбрались на крышу. Узкий гребень тянулся вдоль всего дома.

— На ограждение не рассчитывайте! — предупредили нас. — Оно на честном слове держится!

Замирая от страха, мы двинулись по гребню. Миша нес штатив, Ляхович — камеру, я — аккумулятор, Антиповский — сценарий. Уточкина-Маслова не взяли.

Зрелище того стоило, скажу я вам! Под нами открылся Ленинский проспект, а справа и слева от него — до самого горизонта — краны, краны, краны. И островки кварталов. Черемушки действительно становились Новыми.

— Виталий Витальевич, завтра я тоже снимаю! — неожиданно решился Ляхович. — Отдыхайте!

И Виталий Витальевич проглотил.

Ох, с ним было непросто. Я еще раз убедился в этом, когда позже опять работал с Антиповским. А Виталий Витальевич был у нас оператором. Снимали мы на металлургическом заводе. Гудели мартены. Кипящую сталь разливали по котлам. Искры фейерверком взлетали к потолку.

Надо было снять проезд над всем этим с мостового крана. Накануне Виталий Витальевич залег в постель. Я хотел вызвать врача, но он сказал, что это сердце и дело привычное.

Что было делать? На завтра целый час цех должен был работать на нас. Все было договорено аж в Министерстве.

Мне повезло, что одновременно с нами на заводе работала еще одна наша группа. Пришлось кланяться их оператору — Боре Оцупу: просить его прокатиться с нами.

И он поехал. Это была картина! Мы плыли над стальными озерами, над муравьиной суетой рабочих, которыми управлял Уточкин-Маслов. Съемка — первый класс! Где бы я еще такое увидел!

Антиповский сиял улыбкой. Вечером он повел нас к Виталию Витальевичу и так же благодушно улыбаясь, вручил ему ценный подарок, купленный нами в книжном магазине. Красиво перевязана алой лентой была брошюра «Предупреждение рака шейки матки». Виталий Витальевич улыбался в ответ, но как-то нерадостно.

Мне до сих пор стыдно. Но не очень.

На другой день мы снимали монтаж очередного здания. Машины подвозили стеновые панели. Их тут же поднимали на нужный этаж, и в дело вступали сварщики. Мы не успевали менять точки съемки. Следующий этаж вырастал прямо на глазах. Дом

собирался, как машина на конвейере. В день по этажу. Говорили, что Хрущев видит все это на экране телевизора в своем кабинете.

В первую же ясную погоду мы отправились снимать улицы Москвы. Мы — это оператор Юра Ляхович, его ассистент Миша и я. А во главе славной группы — Уточкин-Маслов. Он вальяжно развалился на переднем сиденье открытого операторского ЗИСа. И время от времени величественным жестом подавал Юре команды: «Камера!». И, улучив момент, прикладывался к бутылке, спрятанной в рукаве пальто.

Самая ответственная работа была у Миши — придерживать штатив, установленный на полу машины. Особенно на поворотах. Миша клевал носом и жаловался на усталость.

— Ночью почти не спал, — доверительно признавался он мне. — Вечером гуляли у Шпайера. Я тебе о нем рассказывал: сексуальный титан. А потом я уговорил одну девушку пойти ко мне. Представляешь, как мы крались через нашу коммунальную кухню в крошечной тьме. Так, чтобы пол не скрипел... Зато потом — класс!

У Миши была своя комната в коммуналке. А мама с бабушкой жили в другой. Мне, выросшему на девяти квадратных метрах вчетвером, это казалось верхом роскоши.

— Мы вели себя тихо, как мыши, — смеялся Миша. — Девушке пришлось уйти до света. И все-равно бабушка утром выговаривала: «Миша, ты бы хоть свою девушку чаем напоил!».

Бабушка у Миши была мировая. Слушала радио, интересовалась политикой. И все спрашивала: что же это такое — развитой социализм?

Миша объяснял:

— Баб, это когда от каждого по способности, а каждому по труду... Это первая фаза коммунизма.

— А зохен вей! — вздыхала бабушка. — Так еще и вторая будет!

Машина петляла по арбатским переулкам. Уточкин-Маслов командовал. Юра Ляхович снимал. Миша держал штатив. А я на заднем сиденье изображал ответственное лицо. Еще бы — в открытом ЗИСе на глазах москвичей. Как Ворошилов какой-нибудь!

Кстати, о Ворошилове. Летом этого года кунцевские обыватели были ошарашены скандальной новостью: в городском парке снимают большие портреты членов Политбюро. И как-то утром по Можайке загрохотали танки. Кантемировская дивизия прошла на Москву. А через пару дней радио донесло совсем уж неприличную весть о разоблачении антипартийной группы и исключении из партии ее членов. Кого! Молотова, Маленкова, Кагановича, Ворошилова! Столпов, можно сказать, государственной системы!

Да еще и какого-то «примкнувшего к ним» Шепилова! Это был просто переворот какой-то!

Подробности мы узнали позже. И то, что эти «вожди» были против разоблачения Сталина. И то, что на Президиуме ЦК им удалось добиться снятия Хрущева с поста первого секретаря. И то, что хитрозадый Хрущев собрал Пленум ЦК, на котором местные партийные боссы поддержали его. Слава богу, на этот раз обошлось без кровопролития!

Таким был этот, 1957-й, год. Год Московского фестиваля. Год первого спутника. Год Новых Черемушек. Год нашего возвращения из Сталинобада.

Ну да, это был год важных событий и в нашей жизни. Я переступил порог «Моснаучфильма», не подозревая, что это мой мир на ближайшие сорок лет. Жена Таня устроилась на работу в Дом кино — в бухгалтерию, на мизерный оклад.

И все-таки мы оба работали. На деньги, скопленные в Таджикистане, купили диван-кровать — вместо скрипучей панцирной сетки. Я провернул вынужденную по бедности операцию: продал часть книг, привезенных из Сталинобада, и на вырученные деньги купил книжный шкаф. Жить стало лучше, жить стало веселее.

А некоторые события прошли для меня незамеченными. Я не знал еще, что переведена на русский язык книга Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». И что в далеком Ливерпуле Джон Леннон познакомился с Полом Маккартни. Все это только потом войдет в мою жизнь.

А время бежало. Была уже зима 1958 года. И я работал на картине «Вьетнамские этюды» — о выставке молодых художников, вернувшихся из поездки во Вьетнам.

Мы снимали во Дворце культуры автозавода. И главный энергетик извел меня комплиментами в адрес моего директора — ослепительной Беллы.

— Красотка ваша Белла! — приставал он ко мне. — А как у нее по части мужиков?

А что, если я приглашу ее в кино? Для начала?..

Белла Михайловна недавно окончила мой же экономический факультет, и, по моему, я был у нее первым администратором. А она была моим первым таким симпатичным директором. Она была полукровкой: мама русская, а папа... врач. И очень известный. Белле передались лучшие черты обоих предков.

— А какие плечи! — восторгался энергетик. — Порода!

— Шел бы ты! — думал я. Но сказать не решался. Мы от него зависели.

Удивительно симпатичная подобралась у нас группа. Режиссером была Марианна Елизаровна Таврог — чуть полноватая дама бальзаковского возраста. Она училась во ВГИКе у знаменитой пары — Кулешова и Хохловой. Было это во время войны в Алма-Ате, где тогда же Сергей Эйзенштейн снимал «Ивана Грозного». Много позже я прочел воспоминания Марианны Елизаровны об этих съемках. И о многом другом, очень для меня интересном.

Рядом с Таврог всегда держалась сценаристка Лосева. Человек удивительного обаяния. От нее веяло каким-то теплом и уютом. Но, прежде всего, — талантом. Нелли Ионовна, как мне кажется, была мотором этого тандема. Она придумывала темы их совместных фильмов. Она выбирала героев — художников, поэтов, ученых, которые были близки ей по духу. У меня на полке стоит ее книжка — «Один Тамм»: сборник сценариев, по которым Марианна Таврог сняла свои лучшие фильмы.

Если бы Нелли Ионовна еще не курила! Она дымила, не переставая. Щурила от дыма красивые глаза и прикуривала одну сигарету от другой. Одно спасение было — Марьяна Таврог. Она не церемонилась. Когда в машине Лосева раскрывала пачку, режиссера спрашивала: — Хочешь курить?

И просила водителя: — Вася (или Федя)! Остановитесь на обочине, пожалуйста! Неля покурит...

Я этому методу так и не научился. А жаль!

Сами съемки были довольно скучными. «Этюды» оказались серыми, без искры божьей. Чуть выделялись работы Алексея Шмаринова — сына знаменитого графика. Он заканчивал Суриковский институт. Кажется, направление, в котором он трудился, называлось «суровым реализмом».

— Больше мы на такую халтуру не пойдем! — обещала Лосева.

— Картина в плане, — вздыхала Таврог. — Студия не должна страдать!

Как-то раз нас взбудоражил все тот же энергетик.

— Белла Михайловна, мойте шею! — не очень удачно пошутил он. — Щас будет «сам»!

Он имел в виду бывшего комсомольского бога, а ныне министра культуры Михайлова. Это был первый министр, которого я видел так близко. И надо сказать, не очень впечатлился. Видимо, посещение началось с банкета для узкого круга, потому что бывший комсомольский вожак все время сдерживал сытую отрыжку. И потом меня поразил обтрепанный воротник его белой сорочки. Что, у министра не хватает денег на новую?

Мы снимали. Но на обратном пути Нелли Лосева спросила оператора:

— Надеюсь, кассета была не заряжена? Министры меняются, как перчатки!

Оператором у нас был Эдик Уэцкий. Эдгар Михайлович. Мой ровесник. Очень спокойный, очень интеллигентный. Вот на кого мне хотелось быть похожим...

— Нелли Ионовна, я работаю честно! А там уж ваше дело: вставлять или не вставлять!..

Надо сказать, что следующий министр культуры, которого я близко видел, была гораздо презентабельнее Михайлова. «Была» — потому что я говорю о Екатерине Фурцевой. Студия сдавала какую-то картину. Я привез коробки с пленкой в министерство, когда они с Михвасом вышли из просмотрового зала. Фурцева щурила глаза после темноты и выговаривала что-то моему директору. Статная, подобранная, уверенная в себе. Рядом с пузатеньким Михвасом смотрелась королевой. Да, далеко ушла она от краснокосынной ткачихи. Не чета моей теще!

Комсомольское собрание было назначено в звуковом павильоне. Я продирался туда сквозь плотную толпу студийных аборигенов. Зимой студия переселялась со двора на лестницы и в коридоры студии. Стояли в тесноте, но не в обиде. Буквально «на ходу» обсуждались сценарии, обговаривались планы будущих экспедиций. Здесь же делились впечатлениями, слухами сплетнями.

Сегодня я получил очередную порцию не газетной информации:

— Вы слышали, Хрущев назвал Веронику шлюхой!

«Ага, понял я, это они о реакции «хозяина» на «Летят журавли».

— А как вам нравится скандал с Дудинцевым?

— Дело не в политике. Это просто слабая книга.

«Вот те раз! — мысленно не согласился я. — Я читал «Не хлебом единым». Нам с Таней нравится...».

Комнат на студии было мало, и тесниться в них никому не хотелось. Вот и бродили люди по лабиринту коридоров. А если павильоны были свободны, рассаживались там.

Павильонов на студии было три: два закрытых и один проходной — между двумя лестницами. Он не был рассчитан на съемку звуковых фильмов.

От Саши Бланка я узнал, что здание студии появилось на Лесной еще до революции. Некий Дмитрий Харитонов в 1916 году и открыл там собственное киноателье.

— Все ждали, что он вот-вот обанкротится, — рассказывал Саша, — ведь у него не было ни режиссеров, ни операторов, ни, самое главное, «королей экрана», на кото-

рых пойдет публика. Но пройдоха-предприниматель обошел всех — он предложил тем, кто был ему нужен, такие гонорары, которые им и не снились.

Этот Саша знал все. Держа меня за пуговицу, он допытывался, знаю ли я что-нибудь о Вере Холодной?

Ну, уж как нибудь! Во ВГИКе нам показывали один из ее фильмов — «Молчи, грусть, молчи...»: о циркачке, соблазненной и брошенной богатым любовником. Надо было привыкнуть к мельканию полос и гротескно ускоренным жестам, чтобы проникнуться красотой этого печального лица и понять, почему все мужское население России сходило по ней с ума. Ее героиню — хрупкую, беззащитную — хотелось догнать, спасти, прижать к груди.

— А ты знаешь, что лучшие фильмы с Верой Холодной снимались именно здесь? — приставал ко мне Саша. И для убедительности постучал каблуком по полу.

Вот так вот. Я бродил по лестницам и переходам, не подозревая, чьи ножки пробегали тут до меня. Может быть, только стены хранили память о нелегком труде актрисы. О том, как могла она всю ночь простоять в гриме, не слушая ворчания осветителей и вздохов засыпающих у камер операторов. А под утро возвращаться домой с головной болью и воспаленными глазами. Зато потом ослеплять зрителя «колдовским» лицом — красотой близкой к идеалу.

— Слушай, а откуда ты все это знаешь? — с уважением спросил я у Саши.

— Есть такое место в Москве. Называется «Ленинка». Походи туда, и сам энциклопедией станешь!

Вот был бы смех, заговори я о легендарном прошлом на комсомольском собрании! Не до истории нам было. Молодежи на студии жилось нелегко. Приходилось носиться, высунув язык, пропадать в экспедициях, да еще терпеть хамство маститых невеж. Выслушивать их нарекания на смеси одесского с нижегородским. И выживать на мизерную зарплату. Только речи об этом на собрании не было.

Что вы! Говорили об изучении материалов очередного пленума, о предстоящих выборах, о героическом труде освоителей целинных земель и о необходимости следовать их примеру. Особенно распинаялся комсомольский активист Келерман — не то электрик, не то механик.

— Мы, комсомольцы, должны активнее участвовать в общественной жизни! — призывал он.

Но особое впечатление произвел на меня молодой и смазливый член студийного парткома, не самой славянской внешности. Он стыдил комсомольцев за пассивность, горячо упрекал нас в инертности.

— Меня поражает, что вы, молодые, так далеки от современных проблем! Вы живете, как в скорлупе! Мне стыдно за вас!

И много чего-то подобного.

«Господи! — думал я. — О чем это он? О каких проблемах? О том, как трудно прожить от зарплаты до зарплаты? Или о кубинской революции?».

— Кто это? — спросил я у Саши Бланка.

— Борис Гольденбланк. Режиссер. Ученик самого Эйзенштейна!

«Неужели он это серьезно? — думал я тем временем. — Взрослый же человек!».

Серьезно, серьезно. Я убедился в этом позже, когда довелось работать с Борисом Михайловичем. Идеализм в нем как-то уживался с практицизмом.

Это не помешало ему стать художественным руководителем объединения и даже директором Мексиканской киношколы!

— Мне бы ваши заботы, господин учитель! — подвел итог собранию ассистент оператора Миша. Так, наверное, его бабушка говорила.

А я смотрел на студийную молодежь и думал о своем двусмысленном положении. С одной стороны, я был ровесником помрежей и ассистентов. Я хотел быть на дружеской ноге с ними. Но с другой стороны, в группе я должен был представлять интересы администрации. «Ох, подозревал я, нелегко будет балансировать на канате! Собачья у меня должность все-таки!».

Постепенно я проникался атмосферой студии. И чувствовал какую-то вибрацию в воздухе. Какое-то напряжение. Просветил меня все тот же Саша Бланк.

— У нас же работают и те, кто сажал, и те, кто сидел. После смерти Сталина из лагерей вернулись «безродные космополиты» и «агенты мирового сионизма».

— Господи, боже мой! Сколько же их было?

— Человек шесть.

— А тех, кто сажал?

— Да, почитай, вся студия. На собрания же сгоняли всех. И все должны были клеймить и осуждать.

Не сразу, из осторожных разговоров, я узнал, что было «молчаливое большинство» и были партийные активисты, которые особенно яростно, просто с пеной у рта, требовали изгнания и осуждения подозреваемых в низкопоклонстве перед Западом.

— А как же теперь они смотрят в глаза тех, кто по их милости отбывал сроки?

— Молча. Знаешь же поговорку: «Кто прошлое помянет...»?

Теперь я лучше понимал, почему так убежденно выступал против меня оператор Поликарпов. И почему отмалчивался режиссер Тарич.

— А как же Михвас? — спросил я у Саши.

— Сидел в президиуме... Но ты видишь, сколько на студии нашего брата. В самое смурное время Михвас принимал на работу людей с «пятым пунктом». Тех, кого ближе Свердловска к Москве не подпускали.

На студии, и правда, было «всякой твари по паре». Чуриковы, гендельштейны, бабаяны. И все как-то уживались. Каждый знал: «то, что дозволено Юпитеру, не дозволено быку». И обижаться на это правило себе дороже.

Только раз до меня докатилось эхо скандала, Рассказывали, что директор картины Закарая как-то очень нелестно высказался о еврейских аборигенах студии. Так вот: оператор Лев Наумович — тот самый с искаженным лицом, который в мой первый день кормил Кабыздоха, — схватил бедного Закарая в охапку и перекинул через забор. Что-то я до сих пор сомневаюсь в правдивости этой истории. Закарая был не таким уж тщедушным, а Лев Наумович — совсем не великаном. А студийный забор — достаточно высоким. Но что я твердо знаю: Закарая через какое-то время ушел со студии, а Лев Наумович был отправлен на Северный полюс. В долгую экспедицию. В назидание другим, наверное.

Как-то раз Саша Бланк указал мне глазами на высокого, все еще моложавого человека:

— Видишь? Это Дубинский! Говорят, какой-то родственник самого Кагановича. Но недавно и сам погорел, и студию подставил.

И я узнал, что этот Дубинский, один из «столпов» студии, снял для журнала «Новости сельского хозяйства» очерк про какую-то новую невиданную машину. Хрущев посмотрел журнал и потребовал, чтобы ему показали чудо-машину в действии. И оказалось, что машина существует только на бумаге. Даже опытный экземпляр еще не работает.

— Никита рвал и метал! — рассказывал Саша. — Хотел разогнать журнал к чертовой матери. Еле уняли...

— А как же?... — засомневался я. — На экране она же должна была работать?

— Хо! В кино еще и не такие чудеса изображают!.. Ты знаешь, кто изобрел самолет?

— Можайский!

— Ну да, про братьев Райт ты и слыхом не слыхал. А все почему? Да потому, что ты вырос на фильме «Первые крылья». А его поставил наш режиссер Гендельштейн! Знаешь такого?

Мне еще предстояло знакомство с этим первым красавцем Москвы. Альберт Александрович утверждал, будто был чуть ли не приемным сыном Маяковского. Но он точно учился у Пудовкина, и до войны поставил несколько имевших успех игровых фильмов. А когда начались гонения на «космополитов», перебрался на «Моснауч-фильм». Но привычку к художественному вымыслу не оставил.

— Помнишь борьбу с низкопоклонством? = продолжал Саша. — «Россия — родина слонов»? Вот тогда Гендельштейн и придумал построить деревянный самолет с паровой машиной. И он у него «полетел»!

Я хорошо помнил и этот фильм, и поразивший воображение полет допотопного монстра с дымящей трубой. Впечатляло. Наверное, потому что Альберт Александрович был хорошим режиссером.

А еще он был женат на Эдит — дочери Леонида Утесова.

Февраль, март, апрель... Это я считаю месяцы, когда работал на новой картине. Называлась она «Я был спутником солнца». Фантастический боевик о приключениях в космосе. После запуска спутника это была очень актуальная тема. И два сценариста, Шрейберг и Капитановский, подсуетились с сюжетом, где были ракеты, планеты, картонные герои и спасение в последнюю минуту. Ставить картину должен был Виктор Викторович Моргенштерн. Это был его первый полнометражный фильм. Да к тому же игровой — как тогда говорили, «художественный».

Получилось так, что я стал ветераном этой картины. Начинали мы с директором Борисом Исааковичем Раецким. Он называл себя караимом и очень красочно описывал землетрясение 1929 года в Ялте, где работал тогда таксистом. А еще он страдал от астмы и курил какие-то пахучие сигареты, которые ему помогали.

За весну мы составили календарный план и генеральную смету на производство фильма. Все шло хорошо. Но потом Раецкому предложили должность директора киножурнала «Наука и техника», и на картину пришел новый директор — Борис Львович Родин. Он привел с собой Саула Кушнира — своего давнего администратора. И я почувствовал, что могу оказаться лишним. А этого мне не хотелось — мы с Раецким заложили в смету долгую экспедицию в Крым. На море, которого я еще по-настоящему и не видел.

Уходить не хотелось. Но как показать Родину, что без меня на картине не обойтись?

Первым делом я перестал опаздывать. Мы тогда жили в Кунцеве. И ранним утром я, как угорелый, несся на электричку. Она подходила к одному концу платформы, а я через ступеньку взлетал на другой. Успевал!

От Белорусского вокзала я бежал на Лесную. Пес Кабыздох встречал меня в проходной и радостно путался под ногами. Когда Родин входил в комнату, я уже сидел, погруженный в изучение календарного плана.

— Ночевал здесь? — удивлялся Борис Львович.

Я скромно потуплял взор. Что ж, допускалась и такая возможность...

— Борис Львович, вы говорили: надо съездить на студию Горького насчет комбинированных съемок...

— Говорил?

Директор подозрительно смотрел на меня и не очень охотно соглашался:

— Не помню... Ну, съезди!

Я шустро поднимался выше этажом — отдать в печать нужные письма. Машинисток на студии было две. Я недавно смотрел итальянский фильм «Рим в 11 часов» — про девушек, рвущихся на работу в адвокатскую контору. Молодые, стройные, почти принцессы, они готовы были вцепиться друг в друга из-за права быть машинистками. У нас за машинками сидели прокуренные пожилые дамы из «бывших». Пропахшие кошками и валерьянкой. Замученные артритом и маленькой зарплатой. Нужно было долго и униженно просить их об одолжении — напечатать деловую бумагу по возможности сегодня...

К счастью, в соседней комнате работала Аня Черница — секретарь главного инженера. За доброе слово и ласковую улыбку она иногда «снисходила».

Оставалось получить подписи Варенцова и главного бухгалтера.

Так что, встречая Саула на проходной, я дружески здоровался с ним, хитро улыбаясь про себя: «Что, съел?».

На студии имени Горького работали мои однокурсницы — тоже администраторами или ассистентами режиссера. Быстренько прокрутив свои дела, я часок-другой откровенничал с ними. Все мы одинаково жаловались на судьбу: «Стоило ли четыре года учиться во ВГИКе, чтобы стать девочками и мальчиками на побегушках!». Что делать? Такова «селяви».

Уж как я старался! И все-таки Родин с главной группой отправил в Ялту Саула. А меня оставил в Москве «на подхвате». Пришлось смириться. Тем более, что целый месяц я был сам себе голова. Что-то получал, что-то отправлял. Побывал даже на авиазаводе, где собирали первые самолеты ИЛ-18. И съездил в Ленинград за каким-то нужным для декорации листом плексигласа.

Вместе со мной кантовалась реквизитор Александра Ивановна — маленькая сухощавая старушка. Она покупала какую-то мелочь на деньги, которые оставил мне Родин.

Ах. Александра Ивановна! Александра Ивановна! Сколько раз, пробегая по набережной Ялты и глядя голодными глазами на витрины со всякими вкусностями, стану я проклинать твое коварство! И думать: «Ну, почему я был таким доверчивым!».

Но все это только будет. А пока скорый поезд мчал меня на юг, к солнечному морю. И я соловьем разливался в купе, разглагольствуя о прелестях киношной жизни. Моими соседями были молоденькая женщина и ее дочка. Раскрыв рот, слушали они мои сказки о путешествиях на самолетах и кораблях, об удобных гостиницах и знаменитостях, с которыми сводила меня дорога. Пой, ласточка, пой!.. И, конечно, я не упустил возможности поведать о дружной, почти родной съемочной группе, которая меня ждет, не дождется.

В Симферополь мы приехали днем. Мои соседки стали искать носильщика, а я вышел на перрон, выглядывая своих. На перроне никого не было. Я вошел в вокзал. И там никого. И никого на привокзальной площади. Только автобусы один за другим подхватывали пассажиров. Мои соседки с носильщиком встали в очередь на остановке. Я юркнул за колонну — не хотелось, чтобы они видели мою растерянность. Машины не было, меня никто не встречал.

Уехать на автобусе я не мог, у меня оставалось всего восемь рублей. Это не хватило бы и на четверть дороги. Что было делать?

Я нервничал, и как всегда в такие минуты, в голове запела, застучала считалка: «Царь-царевич-король-королевич...». «Поеду на такси! — решил я. — А там, в Ялте, буду искать кого-нибудь из группы!».

Дорога оказалась еще той: долгий подъем на перевал с бесконечными поворотами, а за ним крутой спуск по серпантину. Потом я много раз ездил по этой дороге, и каждый раз меня одолевала морская болезнь. Но тогда мне было не до нее. Я все думал: «а если я никого не найду? А если и найду, а у того человека не будет денег? Чем я буду расплачиваться таксистом?». «...сапожник, портной, кто ты такой?» — прямо гремело в голове.

И вдруг «оно» смолкло. Мы подъезжали к Гурзуфу, и за деревьями и домами открылось что-то синее и огромное. Море!

До этого я видел только Финский залив, когда был в экспедиции в Ленинграде. Но разве это то? Море было как живое существо, только не из нашего мира, оно открывалось нараспашку и само заполняло тебя до донышка души.

Мы ехали, а оно длилось и длилось — то рядом с нами, то далеко внизу. И так — почти до самой Ялты.

Говорят, дуракам везет. Где в довольно большом и оживленном городе я надеялся отыскать своих? Но надо же! На улице рядом с портом суежилась небольшая толпа. Я узнал Родин.

— Борис Львович! — кинулся я к нему. — А что же меня никто не встретил? Я же телеграмму давал!

— А ты что — маленький! — не смутился директор. — Сам бы дорогу не нашел?

— У меня же денег не осталось! Вот, нечем за такси расплатиться!

Родин дал денег, я записал данные водителя для отчета. А тем временем суея в толпе продолжалась.

— Костю бьют! — ломала руки женщина, одна из наших. Я узнал: это была гример Вера Николаевна. — Ребята, спасайте!

И «ребята», макетчики и механики, бросились за ней. Костя оказался усатым молодым человеком. Он потирал плечо и громко жаловался на хулиганов, сломавших его любимую трубку. «Мне ее сам Яншин подарил!».

Как я узнал позже, Костя был неудавшимся актером. Вера Николаевна привезла его с собой и уговорила Моргенштерна занять в картине. Усатый Костя с неизменно погасшей трубкой стал «окружением» — бессловесным персонажем, сопровождавшем героев во многих эпизодах картины. В группе его называли «сквозным».

Вера Николаевна — статная дама со следами красоты — была на много старше его.

— Видели бы вы, как они с моим сыном делают по утрам зарядку! — рассказывала она. — Как братья!

Из письма жене:

25.07.1958 г.

Меня уже начинает мучить совесть за мое молчание, но что делать — много работы. И главное, просто негде написать письмо. Живу я в общежитии при гостинице, где, как ты представляешь, атмосфера для написания писем самая неподходящая. Я

вообще стараюсь бывать там реже — только помыться и переночевать, а в остальное свободное время болтаюсь в городе. Правда, сегодня оказалось, что я самый счастливый — всех поголовно выгнали из гостиницы: с Кавказа в Крым перегоняют иностранцев, и гостиницы Ялты не в состоянии их вместить. Повторяется ленинградская история.

Каким-то чудом Родину удалось устроить группу в гостинице рядом с портом. Думаю, не обошлось без хорошей «благодарности». В первый же вечер мы с Борисом Львовичем засели за мой отчет. Пришла и Александра Ивановна. И тут оказалось, что у меня не хватает документов на 800 рублей. Ничего себе! Это же больше моей месячной зарплаты!

— Александра Ивановна! — взмолился я. — Я же вам давал эти деньги!

— Ничего не знаю! — отбивалась старушка. — Я тебе все чеки и счета отдала!

Мне чужой копейки не надо!

И залилась слезами.

— Разбирайтесь сами! — рассудил Родин. И добавил — уже для меня:

— В другой раз будешь расписки брать!

Это был еще тот удар. Мне предстояло жить в курортном городе на тот мизер, который будет оставаться от суточных после расчетов с директором. Весело будет!

Меня поселили в один номер с ассистентом Мишей. Жить с ним было легко и просто. Тем более, что в номере его почти не бывало. К нему приехала девушка Муза — худенькая, не самая красивая, но милая. Она окончила Пединститут, и ее распределили в село на Алтай. Миша был для нее королем и, наверное, последней возможностью общения с человеком своего круга.

— Поедем с нами на глиссере! — предложил Миша.

Эх, как быстро мы домчались до Ласточкина гнезда! С ветерком! Только бурун оставался за кормой.

— А давайте дальше! — предложил я.

— В Турцию! — поддержал меня Миша. Водитель только опасливо покосился на нас.

Ужинали мы в ресторане. Дорого, конечно. Но Миша держал фасон — прогуливал заработанные какой-то фотохалтурой деньги. Приходилось тянуться за ним.

— Ничего! — успокаивал меня Миша. — Уедет Муза — будем экономить.

Я проводил их до квартиры, которую они снимали, выдав себя за молодоженов. Муза грустила. Я ее понимал. Каково это будет: после московской жизни и ялтинского

рая окунуться в серую беспросветность алтайской деревни. Я и сам прошел через это: «ссылку» в дикий Сталинобад, разлуку с только что обретенной женой, тоску по родине.

Директор Родин сразу же разделил «зоны влияния». Саул должен был «администировать» на съемках в павильоне, а мне досталось строительство натурной декорации. И, кроме того, доставка в Ялту актеров.

Из письма жене:

27.07.1958 г.

Все дни заняты работой. Начинаем в 8 утра, кончаем в 2-3 ночи. Правда, я кончаю раньше, но и начинаю раньше всех. Сегодня уже 2-й раз ездил в Симферополь. В этот раз дорогу перенес легче, но все-таки это занятие не для белого человека.

В Симферополь я мотался в аэропорт — встречать и провожать актеров. Они скинулись по гастролям со своим театром имени Ермоловой. Выкраивали какие-то дни для съемок у нас, поэтому оборачиваться надо было быстро. А дорога была страшная, возвращался я каждый раз совершенно разбитый. Раздражало меня и то, что актеры были самые средненькие. Я знал только Емельянова, Феликса Яворского и, конечно, Гошу Вицина. И чаще других я встречал и провожал Надю — актрису того же театра. Помоему, у нее с Моргенштерном что-то было. А иначе, зачем ему было придумывать для нее эпизоды, о которых авторы сценария и не помышляли. У меня было подозрение, что при монтаже Виктор Викторович эту серую мышку «зарежет».

Фильмов Моргенштерна я до этого не видел. Знал только, что он страстный собиратель спичечных этикеток. Гораздо позже Виктор Викторович показал мне свои сокровища — шесть чемоданов, доверху заполненных красочными картинками. И рассказал, что таких собирателей называют филуменистами, то «есть любящими свет и огонь». И еще я узнал, что эти любители появились раньше собирателей открыток и марок.

Выходя из гостиницы, мы каждое утро встречали режиссера, кравшегося из винного магазина и застенчиво прячущего в боковой карман заветную четвертинку. Мы тактично отворачивались. Что мы, его родня, что ли. Работе это не мешало.

А работы было выше крыши. Так что иногда Родин кидал меня на помощь Саулу. Мы снимали в павильоне Ялтинской киностудии. Здесь построили рубку космического корабля. Эскизы декорации делал художник Леня Чибисов. Контролировали его работу научные консультанты.

— Кошмар какой-то! — жаловался художник. — Что ни сделаем — бракуют. Говорят, слишком близко к оригиналу!

Так же придирчиво консультанты относились к «произведению» макетчиков. Их смущала вторая ступень ракеты и двигатели по бокам. «Не должно быть сходства с настоящим «изделием»! — твердили они.

Когда приезжали актеры, съемки шли допоздна. Актерское время было дорого.

Порой сам режиссер кидался тянуть какой-нибудь нужный канат или стирать приставшую в стенке «корабля» грязь.

— Как вам не стыдно! — упрекали нас с Саулом ассистенты режиссера Стелла и Анна Павловна. — Режиссер-постановщик корячится на площадке!

— Рабочие ушли на обед! — оправдывались мы. И тут же кидались тянуть и стирать. Будто у нас других дел не было.

Вообще-то чаще всего я торчал на Чайной горке — есть в Ялте такое место. Мы строили большой макет космического корабля. Мы строили, а дождь разрушал. Мы опять строили...

А что же море? Ялтинская студия стояла на самом его краю. Но видел я его только сверху. Пока директор Родин не объявил во всеуслышание:

— Посмотрите на этого чудака! Пять дней в Ялте и ни разу не купался!

— Когда же!.. — обиделся я.

— У-у-у! — загудели все. И в обеденный перерыв потащили меня вниз. Пляж был забит коричневыми от загара отдыхающими. Один я оказался белотелым. Зато живот у меня не вываливался из плавок.

Море у берега было желтым от песка, а дальше — светло-зеленое, бирюзовое, темно-синее. Растолкав ныряющие в прибое окурки, я зашел по пояс... по грудь... И поплыл — десять метров в одну сторону и десять в другую. На большее я не решился.

— Причастился! — поздравил меня директор. А ассистент Стелла грустно вздохнула:

— И чего я сына сюда не взяла...

Сын у нее учился у логопеда — избавлялся от заикания. А заикой его сделал отец. Он был спортивным журналистом, дружил с футбольным комментатором Вадимом Синявским.

— Страшный антисемит! — отзывалась о Синявском Стелла. — Я запретила мужу приводить его в дом.

Как-то под Новый год муженек Стеллы придумал сюрприз: одел ее шубу, напялил на лицо маску Деда Мороза, взял в руки барабан и с боем ворвался в комнату, где уже спал сын. С того вечера мальчик и стал заикаться.

Утешить Стеллу я мог одним: был таким же придурком, как ее муж. Я тоже под Новый год входил в комнату в вывернутом наизнанку Танином пальто, маски у меня не было, я закрывал лицо лисьим воротником и дико орал:

— А вот и я!

Боже, как кричала дочка! Как плакала Таня!

С тех пор я купался при каждой возможности. В выходные мы с Мишей ездили в Симеиз. Надо было обойти гору Кошка и потом по каменным плитам спуститься к заливу. Прыгать по плитам приходилось с оглядкой: на солнышке грелись змеи. Они даже не успевали зашипеть.

А внизу мы становились единственными хозяевами Голубого залива. В то время туда мало кто добирался. И никакого радиотелескопа там еще не было.

Залив был огромный и дикий. Вот где я чувствовал себя у настоящего моря!

Мы расстилали на гальке Мишину офицерскую плащ-палатку, я сооружал тент из подручных веток. Мы купались и отогревались на теплых камнях. Миша настраивал трофейный портативный приемник. Мы слушали музыку из Турции, а иногда и «вражеские» голоса. И никого рядом не было.

А в будни мы снимали обезьяну. По сценарию она должна была стать спутником космонавтов. Ее запихнули в комбинезон, надвинули на затылок шлем и стали ждать, что она будет изображать любимицу главного героя. К съемкам ее готовил хозяин — дрессировщик из Уголка Дурова. Не знаю, то ли он мало с ней поработал, то ли она от природы была той еще стервозой. Только она никого и близко к себе не подпускала. Какое там дружелюбие! Какая преданность человеку! Поганка шипела и плевалась. И так скалила зубы, что становилось страшно: вдруг вырвется из кресла, к которому была привязана.

И тут я набрался смелости. Я вспомнил, как однажды вез Вицина в аэропорт. Мы проезжали мимо богатой дачи, где, по преданию снимался фильм «Веселые ребята». И Георгий Михайлович рассказал, как умирляли великана-быка. Он должен был «играть» пьяного. Для начала ему, и вправду, дали вылакать ведро вина. Во хмелю бык оказался буйным и буквально затерроризировал всю группу. Люди боялись выйти во двор. Позвали Владимира Дурова. Он потребовал пять месяцев для тренировки. Потом нашли гипнотизера.

— Тот сел напротив быка, — рассказывал Георгий Михайлович, — и целых четыре часа честно тарашил на него глаза. Ни разу не моргнул. Пока, в конце концов, не побледнал и не упал в обморок. Гипнотизер, а не бык. А тот все жевал и жевал свое сено.

Выручил группу старичок-ветеринар. «Быку надо дать водки и как следует разбавить ее бромом. И тогда он будет и пьяный, и тихий...»

Эту-то историю я и вспомнил при всех. И меня послушались! К обезьянному шлему приделали трубочку, один конец ее был опущен в купленную мною бутылку коньяка. Дрессировщик заставил обезьяну присосаться к трубочке. Она сразу раскисла и присмирела.

— Снято! — сказал довольный Виктор Викторович. А директор Родин как-то странно посмотрел на меня — как будто в первый раз увидел.

Чаше других мне приходилось иметь дело с макетчиками. Саша, Леня, Леша и Николай — так, кажется, их звали. У одного из них была гармошка. Вечерами они выходили на набережную и собирали вокруг себя толпу отдыхающих: бесплатный концерт! А как то раз они стали причиной паники в Ялте.

Теплым вечером я возвращался с работы. Шл себе по набережной, неторопливо лавируя среди отдыхающих. Слушал музыку из киоска звукозаписи и смотрел как приходят и уходят прогулочные кораблики.

И вдруг за моей спиной раздались нестройные вопли, и чуть не сшибая с ног, мимо почались чем-то смертельно напуганные мужчины, женщины и дети. Я оглянулся. Боже мой! Прямо на меня шел знакомый Саша с гармошкой. А за ним! За ним выступал покрытый лохматой шерстью, сверкающий дико сверкающими глазами могучий орангутанг!

Хорошо, что он топал, не торопясь. Так что я успел и убежать недалеко и подумать. Вспомнить, что параллельно с нами в Ялте работала съемочная группа какого-то фильма о доисторическом человеке. Они привезли с собой мохнатую шкуру и маску человекообразной обезьяны с лампочками в глазах. С согласия Родина снимался у них самый рослый из наших макетчиков — Коля Ряховский. Снимали его на морском берегу, а вечером отвозили на студию. Оказалось, что в тот день по какой-то причине машина задержалась. Коля ждал, ждал, а потом не вытерпел и пошел домой пешком. А с ним его друг Саша с гармошкой. Представляете: по набережной, полной отдыхающих, идет орангутанг с горящими глазами. Страшно же! Вот народ и кинулся врассыпную. Слава богу, никого не затоптали.

Работы у макетчиков было много. Их делом были все «приборы» космического корабля и большой макет этого корабля на Чайной горке. Это был «мой» объект

Вот я и торчал там с утра до ночи. И как то раз чуть не поджог Крым.

У ребят был с собой ящик пиротехнических ракет — картонных трубочек со шнурком на конце. Дернешь за шнурок, с другого конца вылетает огненный шарик и с шипением рассыпается над землей на цветные искры. С разрешения Ряховского я устроил небольшой фейерверк рядом с декорацией. Одна трубочка нечаянно выскользнула из ладони, и огонь полетел не вверх, а вниз — в сухую траву. Мне это показалось чертовски смешным: ракета скачет по земле, плюется огнем во все стороны. Только Коля Ряховский понял, что происходит.

— Ты что! — закричал он. — С глузду съехал! Сушь же кругом!

И кинулся топтать ногами тлеющую траву. Только тут до меня дошло.

— Мог спалить декорацию!

— И всю Ялту! — не щадил мое самолюбие Николай.

Что ж, высшее образование не делает человека умнее...

Снимали фильм два оператора: Ляхович и Самуцевич. С Юрой Ляховичем я уже работал — в Черемушках. А с Олегом Болеславовичем столкнулся впервые. Он был из обрусевших поляков и говорил с легким приятным акцентом. Во время войны Самуцевич служил оператором при штабе польской дивизии. Ему был придан «Виллис» с водителем, и они колесили вместе с наступающими войсками. А иногда и впереди их. Однажды они нечаянно заехали в городок, еще занятый немцами.

— Я думал: мне конец! — вспоминал Самуцевич. — На капоте у нас польский флаг, погоны на нас советские... Только вижу — офицер строит солдат, отдает мне честь — сдается организованно, как все, что делают немцы. Так до вечера мы их и караулили, пока не подошли наши.

Оператор застенчиво улыбался, словно извиняясь — или за то, что с ним случилось, или за то, что он рассказывает об этом.

Цветной проявки в Ялте не было, и снятый материал отправляли в Москву. Потом в просмотровом зале решали, что годится, а что требует пересъемки. Актеры материал не смотрели — им было некогда. Один Костя «Сквозной» ревниво следил, чтобы ни один эпизод с ним не был «запорот».

После отъезда Музы мы с Мишей решили «экономить». Да и что нам оставалось — денег катастрофически не было. Завтракали мы по пути на студию — на набережной

пили кофе с молоком и заедали булочкой. Обедали тоже на набережной — бульоном с пирожком. Дешево, но голодно. Поэтому иногда мы позволяли себе «загрузочный» день — наведывались в вареничную на рынке.

— Миша, держи меня! — предупреждал я друга.

Но как он мог удержать человека, истекающего слюной при виде вожащенной вкуснятины. Вареники с мясом, вареники с картошкой, вареники с творогом и, наконец, самые любимые — с вишней.

— Миша, почему же ты меня не держал! — упрекал я его, тяжело выползая из-за стола...

Иногда мы обедали в студийной столовой. Главной приманкой ее была чудо как красивая официантка — украинка гарна та моторна. Ухаживали за ней все, на ком были брюки. Но девушка вела себя неприступно. Говорили, что у нее давний роман с актером Переверзевым. Я несколько раз видел его в столовой. Он что-то озвучивал на студии.

Выглядел Иван Федорович настоящим русским богатырем. Я-то помнил его по фильму «Первая перчатка», но гвоздем его карьеры стала роль адмирала Ушакова в картинах Михаила Ромма. Что говорить, он был красив и русоволос. Ни в какой толпе не затерялся бы.

Рассказывали, что эта заметность чуть не сыграла с ним злую шутку. Было это в Крыму в одно время с нами. В Симферополь прилетел почетный гость — чернокожий американский певец Поль Робсон. Жутко прогрессивный борец за мир. Среди встречающих оказался и Переверзев. Робсон сразу обратил внимание на рослого и приметного красавца, да еще по имени Иван. И как-то прилепился к нему. Таскал его за собой по всему Крыму. Приволок и в Ливадийский дворец на прием к самому Хрущеву. Переверзев первым делом хорошо «принял». И перестал понимать, кто есть кто. Когда гостеприимный хозяин пытался пообщаться с американским гостем, Переверзев бесцеремонно оттаскивал того поближе к буфету.

— Что этот актеришка себе позволяет! — взревновал Хрущев. И решительно взял Робсона под руку.

— Пошел ты на ...! — чуть не оттолкнул его Переверзев. В гробовой тишине охранники выволокли скандалиста из зала. Все ждали суровой кары. Но Никита Сергеевич неожиданно проявил великодушие:

— Что с него взять! Выпил же!

С понятием оказался человек.

Мир тесен. В одной гостинице с нами оказалась Ада — моя приятельница по Ленинграду. Она работала ассистентом на каком-то боевике из жизни армии. Встретила она меня не очень-то радушно.

— Не закрывай дверь! — потребовала она, когда я постучал в номер. — Пусть все видят, что у нас с тобой ничего нет!

Постепенно она сбавила тон и объяснила, что несколько дней назад к ней зашел оператор Кулиш. Сначала вел светскую беседу, а потом прямым текстом объявил, что ему от нее надо. «Если же она станет артачиться, — пригрозил он, — на студию уйдет письмо о ее недостойном поведении. Все, мол, видели, как она разгуливала по Ялте с моряком,

Меня Адин рассказ не очень-то удивил. Я знал Якова Савельевича еще по Сталинобаду. Тот еще фрукт. Однажды он увидел у меня редкую по тем временам книгу: Робертсон, «Происхождение христианства». Там были мало известные у нас факты из еврейской истории.

— Тебе она ни к чему! — нагло заявил Кулиш. И унес дорогую мне книгу. Только через несколько лет мне удалось найти такую же в букинистическом.

— Ничего у меня, конечно, с этим моряком не было! — горячилась Ада. — Просто человек вернулся из заграничного плавания. Интересно же послушать!

А письмо на студию все же ушло. И Ада получила суровый выговор от нашей комсомольской активистки Мани Григорьевой-Абрамсон: как не стыдно, мол, позорить честное имя мужа — нашего славного комсомольского вожака.

— С тех пор я и живу с открытой дверью, — извинялась Ада. — А что мне еще остается!

Жалко ее мне было. Но чем я мог помочь? Только не поленился встать в пять утра, чтобы проводить в Симферополь, когда ее командировка закончилась.

Из письма жене;

6.08.1958 г.

Прошлой субботой совершил дикий поступок — ночевал один в Никитском ботаническом саду. Мы договорились с Мишей поехать туда с ночевкой, но в последнюю минуту он передумал, и я со зла решил ехать один. Взял его офицерский плащ, хлеб и помидоры и отправился. Ночевал, завернувшись в плащ на камнях над морем, один, в полном одиночестве — даже не ожидал от себя такого. Проснулся в шестом часу и весь день купался и загорал. Встретил наших макетчиков и пристал к ним. Впервые в жизни заглянул в маску под воду. И дух захватило — открылся удивительный мир!

Мишка очень жалел, что не поехал со мной, но сегодня днем мы ходили туда же — купались, валялись на камнях (солнца не было), строили и пускали в плавание парусные кораблики из сосновой коры. Это такое блаженство = лежать на камнях, поеживаться от брызг и смотреть на дно, на водоросли и камни.

Сколько лет прошло, а я все помню эту сумасшедшую затею. И мою досаду на Мишу, и дерзкую решимость поступить, как задумано. Помню, какими жесткими были камни, и как я старался не дышать, когда рядом проходили пограничники с собакой, ведущие подгулявших туристов. Зато потом взошла луна и заиграла музыка. По морю из Ялты шел ярко освещенный корабль. Потом осталась одна луна и ощущение полного одиночества. Будто я один на планете, а, может, и во всей вселенной. Это было страшно. И хорошо.

С Саулом у нас началось нечто вроде дружбы. Оказалось, что делить нам нечего. По-моему, он даже не подозревал о нашем соперничестве. Он с гордостью показывал мне «Девушку с веслом» перед входом на морвокзал. Оказывается, это его девушка. Ну, то есть, статую лепили с нее. Девушка жила в Ялте до моего приезда. И, как говорили досужие языки, наставляла Саулу хорошие рога. Недаром же его любимым был анекдот про Рабиновича:

« Вхожу я в дом, а там жена с любовником. Мне это как-то сразу не понравилось! ».

«Как-то сразу не понравилось!» стало нашим крылатым выражением. Мы много шутили, подсмеивались над другими и над собой.

Но однажды я увидел совсем другого человека. Наш механик Боря Хрусталев загулял — пропал где-то целых три дня. Какой же разнос устроил ему Кушнир! На бедного Борю обрушились громы небесные. Это был не то митинг, не то суд во дворе студии. Саул клеймил Борю, как последнего изменника. Он ссылался на патриотические чувства, на международную обстановку, на классиков марксизма-ленинизма. Он кипел от праведного гнева. Аж побелел весь.

Вот когда я поверил, что Саул Кушнир до студии был следователем по особо важным делам. Постепенно он признался, что на его совести чуть ли не восемнадцать дел, доведенных до смертного приговора. И еще я узнал, что во время войны он служил в СМЕРШе — организации по борьбе с предателями и шпионами. Больше всего меня потряс его рассказ о расстреле нескольких десятков власовцев, согнанных в овраг. Со-

служивцы Саула под разными предлогами отлынивали от участия в казни. Пришлось ему лечь за пулемет.

Ах, евреи: всегда-то вам больше всех надо! Даже когда не надо!

Я не скрывал от Саула своих взглядов. А он клеймил меня за «гнилой либерализм» и называл антисоветским интеллигентом. Я не знал, обижаться мне или гордиться.

В сентябре в Ялту приехали мои родители. Они сняли комнату в частном доме над городом. Мы с Мишей навещали их — хоть фруктов поели. И вообще, папа с мамой подкормили нас.

Говорили, что в доме, где они жили, провел свои последние дни поэт Семен Надсон. При жизни он был кумиром молодежи, но сегодня прочно забыт. И никто не знает, что знаменитая фраза Фаины Раневской «Красота — это страшная сила!» — цитата из стихотворения Надсона:

Острою мыслью и чуткой душой

Щедро дурнушку она наделила, —

Не наделила одним — красотой...

Ах, красота —

это страшная сила!..

В комнате родителей стоял старинный граммофон, и лежала стопка пластинок. Как-то, перебирая их, Миша наткнулся на запись своего двоюродного дедушки Оскара — солиста Императорских театров. Миша, не будь дураком, аккуратно схоронил ценную находку под рубашкой. Мы слушали ее уже в Москве. Хороший баритон оказался у Оскара. Настоящее бельканто!

Я, конечно, скучал по дому. Можно было попроситься у Родина на поездку в Москву — отвезти материал в проявку. Но я боялся: в мое отсутствие директор мог «продать» меня в другую группу и в Крым я бы уже не вернулся. В конце сентября я все же решился. Родин не стал возражать.

И я полетел — первый раз в жизни. Мне понравилось. ИЛ-14 летел низко. Пока не стемнело, я не отрывался от иллюминатора. Потом прикорнул в кресле. Стюардесса заботливо подоткнула под меня плащ. Проснулся, когда самолет шел на посадку в Харькове. Город внизу казался сверкающей чашей. Никогда больше я такой красоты не видел.

Тани дома не оказалось. Она гостила у моих родителей в Кунцеве. У нее уже был заметный животик — шестой месяц как-никак!

В Ялту я все-таки вернулся. И вообще, доработал на картине почти до конца. Помоему, даже дольше, чем Саул. Зря я боялся! Надо же было кому-то «организовывать» комбинированные съемки. Вот я и мотался на студию Горького и на «Мосфильм». Но вечера-то были свободны. И мы с Таней ходили в кино. Смотрели пырьевского «Идиота» с Яковлевым и Борисовой. По тем временам — классный фильм. А вот «Девушка без адреса» показалось бледным повторением «Карнавальная ночь». «Да, думали мы, в одну и ту же реку дважды не входят».

Премьера нашего фильма прошла в Доме кино. Я называю его «нашим» в том смысле, что работал на нем. Никакой гордости от причастности к произведениям «Моснаучфильма» я тогда не испытывал. Я же не вкладывал в них ничего, кроме быстрых ног и административного напора. Вот сдача в срок и экономия средств меня волновали. От этого зависела моя премия. А премия за «Спутника» оказалась приличной. Больше моего месячного оклада! С Таниного позволения я купил на эти деньги радиоприемник «Октаву». Возмущение тещи не знало границ.

— У вас же задницы голые! — шумела она. — Что вы себе позволяете!

Дочка Лена родилась 27 января 1959 года. Жизнь сильно изменилась. Таня снова не работала, и мы жили на одну мою зарплату. К тому же после жирно отмеченной масленицы у Тани начались страшные печеночные колики. Дважды в день приходилось вызывать «неотложку». Уколы снимали боль на несколько часов. Днем я, как мог, страховал жену, но я все же работал. Зато ночь была целиком «моя».

Ох, не забуду я эти ночные бдения! Всю ночь я вставал к дочери. Правильнее сказать: не ложился... Стоило прилечь, как из детской кроватки раздавалось нутужное кряхтенье... А-а-а! А-а-а! — кидался я к дочери и втыкал в неугомонный рот пустышку... — Тьфу! — остервенело отплевывалась она... А-а-а! А-а-а! — причитал я, запихивая пустышку снова... Иногда помогало. Но чаще приходилось брать ребенка на руки, садиться на диван и прыгать, укачивая ее... А-а-а!.. А-а-а! — шептал я, засыпая... Тишина будила меня. Тихонько пошлепывая дочку по боку, я осторожно-осторожно перекладывал ее в кровать... А-а-а... — продолжал я похлопывать ее... Потом останавливал руку на весу, готовый при малейшем шевелении начать все с начала... Минута... вторая... «Кажется, спит»... Задерживая дыхание, проскальзывал я под одеяло. Блаженная истома разливалась по ногам... Кружево пены ложилось на песок... Я входил в теплые воды... Хны-хны-хны! — обрывался мой сладкий сон...

А дневные гулянья?.. В выходные меня впрягали в коляску, и я отправлялся в бесконечные странствия по московским улицам. От Разгуляя в Сокольники... на шоссе Энтузиастов... в Сад Баумана... Выбор был один: идти или качать. Стоило остановить-

ся – и из коляски раздавался остервенелый крик... Я налегал на ручку: туда-сюда... Быстрее и быстрее... — Что вы делаете с ребенком! – возмущались прохожие. А однажды какая-то сердобольная душа пригвоздила меня приговором:

— Убийца!..

На часах была глубокая ночь, когда пароход вошел в пролив между материком и островами. То есть ночь-то была, только полярная: солнце и не думало заходить. С палубы пришлось спускаться по веревочному трапу, а потом прыгать в качающийся на волнах катер. Слава богу, все обошлось легким ушибом моей руки. Женщины и дети не пострадали. И все-таки я натерпелся страха. И только спрашивал невесть кого: «Господи, как я здесь оказался?».

Смена кадра. Три или четыре километра мы брели по тундре. Мох пружинил под ногами, тут и там краснели ягоды брусники, и белела морошка. А из под ног вдруг испуганно взлетала гагара. Надо было осторожно обойти ее гнездо во мху, аккуратно выстланное пухом.

Мешала перебранка осветителей с директором картины.

— Не обязаны мы быть грузчиками и носильщиками!

— А что вам еще делать? Светить же не надо!

— Вот и оставили бы нас в Мурманске!

— Скажите спасибо, что вывезли вас в такую красоту!

Тут он был прав. Путь наш кончался на краю острова, где в океан обрывались дикие скалы, усеянные тысячами птиц. Птичьи базары! Внизу катились волны, их белые гривы застилали горизонт. Встревоженные нашим появлением птицы взмывали в небо, Дух захватывало от величия этой картины.

Господи, как я здесь оказался!

Пути господни неисповедимы. Вот и случилось так, что в разгар ночных бдений меня вздумали снова отправить в долгую экспедицию. На этот раз — на Север. Начальник производства Абрамсон вызвал меня и объявил, что я назначаюсь администратором на картину «Голубые песцы Пети Синявина». И что это очень ответственное назначение: картина «художественная», группа большая, экспедиция сложная. Я, конечно, поблагодарил за доверие, Но сослался на пятимесячного ребенка и больную жену. «Нельзя ли меня освободить от этой чести?». Сочувствия от Абрамсона я не дождался. И тогда я решил не показываться ему на глаза. Несколько дней это удавалось. Но потом начальник производства настиг меня на заднем дворе, прижал в угол и предупредил:

— Вы добегаетесь! От командировки вам не отвертеться!

Абрамсон был чуть ли не главным лицом на студии. Начальник производства — не хухры-мухры! Первый раз я услышал о нем в Ленинграде — от моего директора Алексея Александровича.

— Надо послать телеграмму! — как-то раз заявил он. — Поздравить Владимира Ильича с днем рождения!

Я малость обомлел: «здоров ли князь?». Сейчас лето, а каждый малыш знает, что Владимир Ильич родился 22 апреля. Только относя телеграмму на почту, я вчитался в адрес: «Лесная зпт 27 зпт Абрамсону тчк». Скоро я привык к этому сочетанию: почему Абрамсон не может быть Владимиром Ильичем?

На кого был похож начальник производства? Через пару лет по нашим экранам прошел американский вестерн «Великолепная семерка». Главного героя там играл мужественный Юл Бриннер: бритоголовый крепыш крайне решительного вида. Сегодня я считаю, что наш Абрамсон и был таким вот Юлом Бриннером. Любо-дорого было смотреть, как он проводил диспетчерские совещания! Орел! Быстро и четко назначал он завтрашние съемки, раздавал машины и аппаратуру, которых на всех не хватало. Спорить с ним было бесполезно. Прямо Чапаев!

Шутить над Абрамсоном я могу. Но быть благодарным за все, хорошее, что он для меня в жизни сделал, — просто обязан.

Тяжко вздыхая, я разыскал директора картины Израилева. Теперь Яков Давыдович был моим непосредственным начальником. Он сразу же впряг меня в работу. Работы было невпроворот. Надо было собрать и отправить в Мурманск больше двадцати человек. Да еще реквизит, аппаратуру и лихтвагены — электростанции на колесах. К тому же с нами ехали четверо детей и их воспитательница. Ведь героями картины были мальчишки — друзья этого самого Пети Синявина. А уж про реквизитора, гримера, звукотехника, осветителей я и не говорю. Просто табор какой-то!

За пару дней до отъезда Израилев преподнес мне сюрприз. Оказывается, он не мог пропустить футбольный матч с участием его любимой команды. Так он еще и болельщиком был! Короче говоря, везти группу мне предстояло одному. Задерживался в Москве и режиссер Нифонтов.

В общем, мы добрались до Мурманска. Хорошо, что там уже был ассистент режиссера Слава Торопов. Я его помнил по ВГИКу. Он работал там — кажется, на кафедре физкультуры. Слава нас встретил, поселил в гостинице. У него уже были куплены билеты на пароход. Ведь нам предстояло сразу отправиться в Баренцево море — на Семь островов.

Из письма жене:

10.07.1959 г.

В Мурманске мы были всего 2 дня, мне пришлось вдоволь помотаться, а после 1 июля мы уехали на пароходе в Харловку. Харловка — покинутое становище на Баренцевом море. Пароходы туда заходят раз в 10 дней, а другого сообщения с миром нет. Завтра приходит пароход в Мурманск, и я спешу с письмом.

Группа у нас, в общем, неплохая. Живем мы в брошенном доме в становище, откуда выселили всех жителей в связи с укрупнением колхозов. Условия жизни, конечно, не из легких. Спим на нарах, сделанных нами, на спальных мешках, укрываюсь плащом. В бане не были ни разу. В первые дни готовили сами для себя какую-то баланду. Теперь на всех готовит реквизиторша.

В поселке, и правда, никто не жил. Кроме маячника и командира пограничной заставы. Сама застава располагалась на берегу, у подножия высокой скалы. А на скале был наблюдательный пост.

Пожилой маячник, по-моему, никогда не «просыхал». Где он доставал спиртное оставалось загадкой, пока мы не узнали, что в соседнем селении, за речкой, работает магазин. Наши ребята быстро наладили связь с этим «очагом культуры», и выпивка у нас не переводилась. А как было не пить, когда на столе стояла такая закуска — свежесоленая семга! Ею нас исправно угощал маячник, доставая из бочки, которая стояла у него в сенях.

Как она туда попадала? Речка Харловка впадала в пролив, где дважды в сутки вода то поднималась, то опускалась. Прилив и отлив. В отлив дно реки обнажалось, и маячник протягивал от берега к берегу перемет — веревку с крючками. В прилив вместе с большой водой в речку заходила рыба, и некоторая часть ее цеплялась за крючки.

Вообще-то лов семги был категорически запрещен = под страхом штрафа. Но друзья пограничники во время предупреждали об опасности.

— «Рыбнадзор» идет! — передавалось от заставы к заставе. И маячник вывешивал на доме грозное объявление: «Штраф 500 рублей!».

Командир заставы принимал нас с парохода. Он-то и посоветовал нам выбрать брошенную избу получше и там и обосноваться. Сам он жил в таком же доме — в чистоте и опрятности. Винцом от него пахло постоянно — а что еще было делать в этом забытом богом месте.

— Я бы предложил вам баню. Но у нас там ремонт, — с сожалением говорил он.

Женщины и дети поселились в бревенчатом здании бывшей школы. С ними жил и единственный взрослый актер — Коваль-Самборский. И там же устроили столовую.

Пока режиссера не было, мы расселялись и снимали какие-то пробы. Но чаще всего бродили по берегу моря.

Это было не просто море. Это был океан. Рядом с ним я чувствовал себя песчинкой, уроненной ветром на белоснежный берег. Океан был до нас. И будет после нас. Он покой и движение. Приливы и отливы — его дыхание.

В отлив мы искали «дары» океана. Чаще всего это были полые стеклянные шары — поплавки, оторвавшиеся от сетей. Ни бутылки с письмом, ни сундука с дублонами. А за нами бдительно следил объектив стереотрубы. Пограничники на скале бдели.

Нифонтов и Израилев приплыли через три дня. Я встречал их на пограничном катере. По дороге я доложил директору о том, что для него приготовлена комната в школьном здании, а режиссера мы поселим в доме командира заставы. Я с ним договорился. Он выпивоха, но вполне вменяемый.

И о чем же спросил Израилев, когда мы высаживались на причал?

— А где этот алкоголик, у которого должен жить Глеб Иванович?

Командира, который помогал разгружаться, аж перекосило. Он задумчиво посмотрел на меня. Я понял, что дружбы с ним у меня не будет.

С приездом Израилева в группе начались постоянные скандалы. Первым делом он заявил, что «квартирные» не будет выплачивать: раз студия обеспечила нас спальными мешками и чистыми вкладышами, то деньги на проживание нам не положены. Вот те раз! Израилев лишал нас законного дополнения к суточным. Гвалт поднялся до самых полярных небес. Пришлось Якову Давыдовичу слегка уступить.

— Ладно, — согласился он. — Но тогда не будут оплачиваться подсобные работы на съемках!

— Х... вам! — вежливо не согласились осветители и механики. — Таскайте аппаратуру сами!

Из письма жене:

Снимаем на острове Харлове — через пролив плыть 2 километра, а потом до птичьих базаров по болотам и камням острова 3-4 километра. Обычно тянем на себе всю аппаратуру. Израилев оказался страшной сволочью, жмет деньги, за работу никому не платит, все отказываются таскать — в общем, нервотрепка. В группе постоянные скандалы и нарекания из-за денег. Я еще никогда не работал с директором, который так обманывает людей, который за всю каторжную работу расплачивается квартирными. Ну, об этом — приеду, расскажу.

Да, рассказать было что. Прежде всего, о хорошем. Мы жили и работали в окружении красоты. Красиво было все: и река, стремительно набегающая на обнажающиеся в отлив камни, и пролив, обманчивое спокойствие которого вдруг разрушал снежный заряд, и мохнатая тундра на острове, и разноцветье птичьих базаров.

А плохой была обстановка в группе. Израилев жал копейку, где только можно. Не хотел платить он — не хотели работать осветители. Таскали на съемку только свои подсветы — оклеенные фольгой фанерные отражатели. Вот и приходилось бедному ассистенту Яше стенать под грузом кофра с камерой:

— Он смерти моей хочет! — жаловался рыхлый Яша.

Первые дни с нами был режиссер Нифонтов. Глеб Иванович сделал имя своим участием в первой советской Антарктической экспедиции. А впереди у него были большие игровые фильмы, снятые на «Моснауфильме»: «Зеленый патруль» и «Звероловы». Нифонтов оказался заядлым рыболовом. В свободные от съемок дни он отправлялся со спиннингом на камни над рекой. И однажды припнулся оттуда, сильно хромая. Пришлось пограничникам везти его на своем катере в ближайший медпункт. Оттуда он вернулся в гипсе и на костылях. Оказалось, перелом.

Теперь съемками руководил оператор Хольный. Георгий Александрович вполне справлялся — работал по сценарию. И, по-моему, не хуже Нифонтова. Во всяком случае, гораздо расторопнее.

Георгий Александрович вообще оказался веселым и компанейским человеком. Особенно, когда я забыл о своем первом впечатлении от его внешности. «Чистый каторжник! — решил я при знакомстве с ним. — Прямо Жан Вальжан из «Отверженных»!». В экспедиции я узнал, что был не так уж далек от истины.

Хольному исполнилось двадцать лет, когда началась война. Его тут же мобилизовали, обмундировали и отправили на фронт. Правда, оружие пока не дали.

Эшелон шел днем. Стучали колеса. Эшелон шел ночью. Стучали колеса... И, может быть, для поднятия духа молодые ребята пели бодрую песню из знакомого фильма:

*Если завтра война,
Если враг нападёт,
Если черная сила нагрянет,
Весь советский народ,
Как один человек,
За свободную Родину встанет!*

А утром их разбудила тишина. Эшелон стоял. Пели птицы. И тихо урчали моторы немецких танков.

Следующие четыре года Георгий провел в немецком плену.

Нельзя сказать, что эти четыре года Хольный не жил. Только жизнь эта была каторжная. В лагерном бараке и тяжком труде. Слава богу, Георгий был молод, и у него хватало духу вспоминать все, что с ним происходило, с чувством юмора.

— Когда нас в первый раз допрашивали, — рассказывал Хольный, — меня спросили об образовании. Я честно ответил «Хохшуле» (высшая школа). Русский переводчик зыркнул на меня глазами и буркнул: «Ты что, сдурел!». И записал в анкете: «Кохшуле» (школа поваров). Так я усвоил первое правило выживания: быть проще. Не высовываться. Пусть немцы считают нас придурками. А там посмотрим, кто из нас кто...

По словам Хольного, выходило так, будто придурками были сами немцы.

— Стоило посмотреть на их рожи, когда в цеху, где мы работали, разорвалась авиабомба! Мы нашли ее во дворе — почему-то несработавшую. Приволокли в цех и подвесили к потолку. И устроили так, чтобы она упала на пол во время бомбежки. Тот немцы чесали репы — не могли понять, как это: дыры в потолке нет, а разрушения — точно от английской бомбы!

В другой раз, рассказывал Хольный, охранники приволокли в русский барак пойманного во дворе итальянца. И заперли его в отгороженном от барака карцере. «Надо спасти Италию!» — решили пленные. Но как? Сорвать замок — могут и расстрелять. Думали, думали — и надумали: разобрали часть потолка, пробрались к карцеру, выволокли итальянца и переправили его к своим. А дыры в потолке аккуратно заделали. Немцы только головами качали: замок цел, а заключенного нету. *Mystische!*

— На другой день итальянцы переправили нам котел с «баландой». А там макароны! Их же кормили по-другому...

Я слушал Хольного и понимал, что он опускает самое страшное. Уже потом я узнал, что он был узником одного из печально известных лагерей — «Шталага № 326». Выжить там было просто чудом. А Хольный не просто выживал, он был членом Сопротивления.

— Я заполнял карточки в лазарете. Немец-врач бросит взгляд на пленного и диктует: «Айн!» Это значит — в шахты: на быструю смерть. А я пишу: «Драй». Жизнь спасена.

Пять раз Георгий бежал из плена. Его ловили, били смертным боем, отправляли в каменоломни.

— Я боялся за правую руку, — признавался Хольный. — После войны мне же надо будет кинокамеру держать!

До нашей студии Георгий Александрович работал в Одессе. И набрался там «одесских» словечек.

— Устроим хамишущер! — предлагал он, когда мы снимали птичьи базары. И мы устраивали: что есть мочи кричали, свистели, махали руками. Птицы испуганно срывались с мест, светлым облаком закрывали небо, а потом ровным строем возвращались на скалы. Красиво!

А на обратном пути Хольный развлекал нас одесским фольклором.

— *ак на Дерибасовской, угол Ришельевской*, — напевал он, —

В восемь часов вечера

Разнеслася весть,

Как у нашей бабушки,

Бедненькой — старушки,

Семеро налетчиков

Отобрали честь.

Мы уже знали продолжение, и поэтому тундру оглашал нестройный хор:

Оц — тоц — перевертоц,

Бабушка здорова,

Оц — тоц — перевертоц,

Кушает компот,

Оц — тоц — перевертоц,

И мечтает снова

Оц — тоц — перевертоц,

Пережить налет.

— Услышат же! — беспокоился Израилев. Кого он опасался в этой пустыне — непонятно?

Из письма жене:

Пишу письмо под несмолкаемые ругательства, относящиеся к Израилеву.

Наши ребята (нас 7 человек в доме) митингуют и за глаза уничтожают его. А теперь вышел скандал из-за меня: я выпил кружку дефицитного чая и поднялся страшный гвалт. Все, кому не хватило, вопили что есть мочи, сравнивали меня с самыми низменными животными и т.п. Но я свое дело знаю туго — чай выпил и издеваюсь над ними.

Ко мне у Якова Давыдовича были свои претензии.

— Вы допускаете фамильярные отношения в группе! — выговаривал он мне. — Администратор должен держаться в стороне от прочих!

Сам-то он так и держался. В самый разгар скандалов директор объявил, что все в группе должны общаться с ним через администратора. А потом и ко мне стал обращаться путем переписки. Вот я и метался между ребятами, требовавшими справедливой оплаты, и директором-Кашеем, чахнувшим над золотом. Я чувствовал, что все это может кончиться забастовкой. И тогда я решился — пошел к Нифонтову.

— Глеб Иванович, так работать невозможно!

Режиссер выслушал меня и сказал, что разберется. И точно — после этого Израилев притих, помягчел. Согласился платить реквизиторше отдельно за готовку, а осветителям — за таскание аппаратуры.

А вообще-то мы жили весело. В прилив переправлялись на остров, снимали там — до следующего прилива: в отлив камни обнажались, и войти в реку было невозможно. Ночь не отличалась от дня: солнце не заходило, и спать никому не хотелось. Кто хотел, резался в карты. А кто хотел, слушал «одесские» байки Хольного.

— Снимали в Одессе фильм «Нахимов». Была там сцена похорон адмирала. На съемку собралась «вся Одесса». И не из-за особой любви к кино, а чтобы проводить в последний путь... гроб. Это было роскошное произведение лучших мастеров. Не дешевая подделка подо что-нибудь, а из красного дерева с золочеными ручками. Без дураков!

— В таком гробе, — судачили провожающие, — и самого Пурица схоронить не стыдно!

Съемки кончились, материал отправили в Москву — в проявку. И надо же так случиться, что в это время у директора картина умер отец. «Зачем мне тратиться, а добру пропадать!» — подумал директор. И положил отца в адмиральский гроб. И опять на похороны собралась «вся Одесса». Старики завидовали покойнику:

— Досталось же Рабиновичу счастье — проехаться в таком гробе!

А на другой день из Москвы пришла телеграмма: «Пленочный брак зпт назначайте пересъемку тчк».

В ходу у нас были всяческие приколы. Зашить рукава куртки в отсутствие хозяина. Подложить камни под спальный мешок. Приклеить тапки к полу. Любимым объектом шуток стал пожилой актер Коваль-Самборский. Был он весь какой-то погасший. Безответный. Только и мог бормотать беззлбно:

— Ну, ребята... Ну, ребята...

Откуда нам было знать, что неприметный Иван Иванович когда-то был «королем экрана». Что еще до кино он играл у самого Мейерхольда, а потом снимался у таких классиков, как Пудовкин, Протазанов, Барнет, Райзман.

Статный красавец Коваль-Самборский одинаково убедительно смотрелся в ролях холеных аристократов и простых рабочих или крестьян. Он был «синеглазеньким» — Говорухой-Отроком в немом еще «Сорок первом» — Он шел нарасхват в Берлине, Париже, Праге и Вене. Женщины обмирали при взгляде его выразительных глаз. Но за свой успех ему пришлось дорого заплатить: арестом и ссылкой в Киргизию.

Только через шестнадцать лет вернулся он в Москву — но уже другим. Зрители увидели не прежнего обаятельного человека, а постаревшего и погрузневшего мужчину с печальным взглядом. О прежней популярности, конечно, не могло быть и речи. Ему предлагали незначительные эпизоды и роли второго плана. И спасибо Нифонтову за то, что он из фильма в фильм снимал потерявшего амбиции актера.

Простите нас, Иван Иванович!

Из письма жене:

17.07.1959 г.

Прошрое письмо написал в Харловке на Баренцевом море, но отправить не сумел, так как пароход пришел раньше, и я не успел сдать его на катер. Катера ушли из реки к пароходу, а через час начался страшный шторм (9 баллов), который продолжался всю ночь и весь следующий день. 13 июля погода улучшилась, мы переправились на остров и снимали — сняли почти все актерские сцены. 14 июля доснимали, пока не испортилась погода, а 15 июля собирались в дорогу. Рейсовый пароход должен был прийти 21 июля, но 15-го мимо должен был пройти экспресс «Илья Репин». Мы дали телеграмму навстречу ему, чтобы остановился в проливе, и стали ждать.

Пароход опоздал на 8 часов, так что мы не спали всю ночь, и только в 5 часов утра увидели вдали силуэт. Пограничники дали ракету и вышли с большинством группы на своем катере к пароходу. Водитель и механик второго катера спали где-то пьяным сном. А море было веселым. Когда первый катер с людьми запрыгал на волнах, у меня защемило сердце — ведь там были женщины и дети, а ветер был встречным, начался отлив, и волны заливали катер. Когда же я увидел, что наш водитель в дым пьян, у меня совсем душа ушла в пятки, Нас порядочно побросало и помочило. Кое-кто промок до трусов, а вода холодная и ветер ледяной. Но я так храбро швырял канат с катера на пароход, словно был заправским морским волком.

Израилев оказался ужасным трусом. Да и все изрядно струхнули. А потом нас качало на пароходе, и единственным спасением был сон, а мест в каютах было только 6 на 21 человека. Мы достали свои раскладушки и поставили их в салон 1-го класса.

В общем, наша «Одиссея» закончилась, и мы вернулись в цивилизованный мир. Как говорит актер Коваль-Самборский, мы вырвались из ада -по-моему, первого «з» здесь не хватает. Причем почти благополучно, если не считать, что в порту нас уже ждали 2 машины «Скорой помощи», которые увезли ассистента режиссера Торопова с воспалением легких и режиссера Нифонтова с переломом ноги (в лодыжке). Нифонтов лежит в номере, и оттуда будет руководить съемками. А Торопов остался в больнице. Я отделался парой дней с больным горлом.

Но я совсем не жалею, что был в Харловке. У нас не легкая группа, трудная работа, ужасные условия жизни, но жить так тесно с людьми мне еще не приходилось. Все было у нас, но у меня лично впечатления остались хорошие.

Только очень устал от постоянных разговоров о деньгах, не выдаваемых Израилевым, и от скандалов группы с ним. В конце концов, он выдал и квартирные и уплатил людям за работу, но сколько он, негодяй, испортил людям крови, сколько вымотал нервов!

В Мурманске мы пробыли чуть больше месяца. Недалеко от города построили вольеры. Запустили туда песцов, и мальчики-актеры стали изображать уход за ними. Хольный снимал без режиссера, дело двигалось, но погода-то на Севере не ялтинская. Дожди налетали без предупреждения и задерживались надолго. Если погода была просто пасмурной, снимали со светом — приборы питались от лихтвагена.

Из письма жене:

Конец июля 1959 г.

Завтра едем за 60 километров от Мурманска снимать актерские сцены с оленями. Потом группа в 3-4 человека отправится пешком в тундру снимать оленье стадо. Сначала Израилев хотел идти сам, Но теперь уже говорит: «Хольный, наверное, хочет, чтобы шли вы, Илюша». А когда надо было уговорить всех на эту авантюру, он распинался: «Я с удовольствием пойду! Я старый турист! Поднимался на Казбек!» Мне, по совести, хотелось посидеть в городе, отдохнуть, а то после Харловки еще ни разу не вставал позже 8 часов. Израилев мне каждый день находит работу.

Уж не знаю, у режиссера или у оператора возникла светлая мысль снять оленей сверху — с вертолета. Легко сказать- найти вертолет в тундре. Но на пути у нас был военный аэродром. Там-то уж вертолеты должны быть. Решили рискнуть. Я написал письмо на студийном бланке, приготовил удостоверение и с замиранием сердца позвонил в ворота. Генерал на удивление радушно принял нас и обещал выделить машину, когда она вернется с задания. Нас даже накормили обедом с офицерской столовой.

Крахмальные скатерти, официантки в белых фартучках, обед из четырех блюд — хорошо устроились товарищи офицеры!

После обеда мы сидели на крылечке и следили за взлетом реактивных истребителей. Это было зрелище, скажу я вам! Самолет, едва оторвавшись от земли, задирает нос и поднимается в небо брюхом вперед. Плашмя!

На это можно было смотреть часами. Но прибыл вертолет, и нам помогли загрузиться

— Вам куда? — спросили пилоты.

— К оленям! Где их много-много!

— Что-то мы давно больших стад не видели...

Вертолет был военный — с прозрачным полом впереди. Стоило лечь на него и посмотреть вниз — тебе казалось, что ты свободно паришь в воздухе. Внизу проплывала тундра, мелькали речушки и озера. Тень вертолета скользила по земле. Только никаких стад не было. Одиноким оленям стремглав удирала при нашем приближении.

— Тухлое дело! — сказал пилот. — Мошка. Олени ушли к морю.

Пришлось вернуться. И отправиться в сторону Североморска. Где-то там у нас была назначена встреча с местными оленеводами. Которые должны были повести нас в тундру.

Оленеводы сидели у костра и жарили нанизанную на прутья оленью печенку. Оказалась довольно вкусной.

— Однако оленья ушла, — сказали ненцы.

— Далеко?

— Однако день идти... другой идти...

— На нартах?

— Однако оленья слабая... Вещи можно...

Мы молча переглянулись. Однако это нам как-то сразу не понравилось. Но я молчал, не хотел, чтобы меня приняли за слабака.

Решение принял Хольный:

— А будут там олени или нет — бабка надвое сказала. Летчики же не видели...

Я изобразил легкое разочарование. Не сильное — чтобы оператор не устыдился.

Ассистент Яша подмигнул мне.

Из письма жене:

После дикой Харловки Мурманск кажется вершиной цивилизации. Чистые простыни, души, витрины. Но скука здесь смертная. Мурманск — город маленький, про-

пахший рыбой. Пьяных здесь просто невиданно — рыбаки и моряки. Есть даже вытрезвитель для женщин — единственный в мире, наверное. Дети здесь, по-моему, никогда не спят. Круглые сутки слышны их смех и крики. Запасаются солнцем на темную зиму.

В общем, я хочу домой! Но боюсь одного — приеду в Москву, и очень скоро меня снова куда-нибудь бросят: время-то самое экспедиционное. Ну, там видно будет.

В Москву мы вернулись в конце августа. Слава богу, целые и почти невредимые. Дома все было более или менее. Таня перестала кормить, и приступы у нее кончились. Дочь по ночам сделалась чуть покладистее. Спала.

Зато на студии я застал полный тарарам. Вчера ограбили студийную кассу. Кто-то проник внутрь и ударил кассиршу молотком. Этот «кто-то» явно был из своих — иначе бы бедная женщина дверь не открывала. Удар оказался не смертельным, но память у кассирши отшибло напрочь.

По студийному двору бродили милиционеры с собакой. Наш Кабыздох поглядывал на них из-под скамейки. А рядом с сыщиками сутился комсомольский активист Келерман.

— Много унесли-то? — спрашивали все друг у друга.

— Да, почитай, не меньше миллиона, — отвечали знающие. — Зарплату завезли же.

Через день милиции повезло. В магазине «Динамо», на улице Горького, описали молодого человека, который на днях купил мотоцикл «Ява». Его запомнили, потому что он до этого не раз приценялся к нему. Не стоило особого труда опознать по описанию преступника. И знаете, кто им оказался? Комсомольский активист Келерман! Тот самый, который так горячо агитировал нас на собрании.

Мотоцикл и деньги нашли на даче. Кассирша выжила, но работать уже не могла.

«Голубых песцов» на экране я так и не увидел. Меня же бросали с картины на картину. Но я знаю, что Хольный и дальше работал с Нифонтовым — до тех пор, пока Глеб Иванович не ушел со студии в кресло заместителя председателя комитета кинематографии. И стал для нас, смертных, недосягаем.

А Георгий Александрович сменил профессию — на режиссерскую. И снял фильмы о горькой участи советских военнопленных.

Как ни странно, Яков Давыдович Израилев лестно отзывался обо мне. Это мне сообщил мой новый директор.

Александр Маркович Капул был «многостаночником»: работал сразу на трех картинах. Человеком он оказался веселым и доброжелательным. На студии Саша Капул имел репутацию ловеласа. Про него даже стишки сочинили:

Капул Капу

В шкапе лапал...

Не самая, конечно, поэзия. А Капа была дородной студийной девушкой. Не замужней, однако. Да и Капул был не женат, из всех родных у него имелся только старенький еврейский папа. Пока не было съемок, мы работали дома у Капула — составляли сметы. А папа кормил нас вкусными бульонами. Благодаря Александру Марковичу я научился щелкать сметы, как орехи.

По утрам я звонил Капулу: «Что сегодня делаем?». Часто Капул решал: «Сиди дома, качай ребенка!». Входил в положение.

Но когда начались съемки, стало не до досуга. Я метался с одного объекта на другой. Мы с Капулом сменяли друг друга. И ничего — получалось.

Дольше всего я продержался на заводе «САМ» — счетно-аналитических машин. Здесь делали калькуляторы. Но для меня «САМ» стал местом, где я познакомился с главным режиссером моей жизни — Семеном Райтбуртом. Да, да, хотя я так и не отважился признаться ему в этом: Семен Липович многие годы был для меня недостижимым идеалом, неформальным учителем.

Фильм назывался «Секрет НСЭ». Героем его был изобретатель-самоучка Борис Егоров. Райтбурт снимал так, чтобы на первый план выходили не изобретенные Егоровым конструкции и приспособления, а его творческая мысль. Характер. Я однажды целый вечер просидел дома у изобретателя. Было поздно, жена стоически пыталась уснуть при ярком свете, а в тесной комнатке Егоров увлеченно рассказывал мне о нелегкой судьбе своих идей. И даже рисовал схемы самых ему дорогих. Я запомнил конструкцию миниатюрных гидроэлектростанций: нечто вроде консервных банок, насаженных на общую ось. Ось перекидывалась через реку, поток вращал «банки», и встроенные в них магниты вырабатывали электроэнергию, достаточную для освещения сельского клуба или школы. Казалось, что Егоров готов говорить об этом до утра.

Мне кажется, что и Райтбурту было интересно работать с таким увлеченным человеком. А я впервые чувствовал, что на моих глазах рождается что-то настоящее, а не пресловутые «болты в томате».

Райтбурту везло, что оператором у него был Юрий Иосифович Беренштейн. Тот понимал его с полуслова и умел передать ракурсом и светом эмоциональное возбуждение режиссера. При том, что сам был сдержанным, интеллигентным человеком. Я не

удивился, узнав, что Юрий Иосифович увлекается живописью. Он был самым настоящим художником.

Дополняла группу ассистент режиссера Елена Павловна. Бывшая актриса, она стала жертвой автомобильной аварии. Мелкие осколки стекла навсегда оставили следы на ее лице. Она была замужем за маститым оператором Валерием Гинзбургом — со студии Горького. А родным братом Валерия был удачливый драматург и сценарист Александр. Через несколько лет, в разгар своей популярности, он вдруг возьмет себе псевдоним Галич и станет очень популярным в среде интеллигенции бардом — сочинителем ярко антипартийных песен.

Видели бы вы, какими влюбленными глазами смотрела Елена Павловна на своего режиссера. А он, право же, стоил того. Мало кто из наших «творцов» мог похвастаться двумя премиями Венецианского кинофестиваля. При этом он был на удивление скромным, почти застенчивым и смешливым.

И очень умным.

— Иду я как-то раз по бульвару Распай...

Это я не о себе. Бульвар Распай для меня еще когда будет. А для Бориса Натановича он уже был. Была и Парижская киношкола, и работа ассистентом у самого Абеля Ганса. Итак...

— Иду я как-то раз по бульвару Распай. И вдруг меня окликают Рене Клер: «Месье Борис! Нет ли у вас желания поработать со мной?».

Да, да, Борис Натанович Ляховский был помощником у Рене Клера, у Жака Фейдера, у Рихарда Освальда. Для знатоков истории кино эти имена говорят многое! Шесть лет Ляховский проработал во Франции. И заплатил за это шестью годами в советском лагере.

— Год за год! — невесело шутил Борис Натанович.

Я не помню, какую картину снимал Ляховский. Что-то об исследованиях верхних слоев атмосферы, по-моему. Я же, как всегда, проработал на ней всего около месяца. Помню только, что оператором был тот же Юрий Беренштейн, а директором — тот же Саша Капул.

По плану нам предстояли экспедиции в Новосибирск, Ташкент и Ригу. Первым был Новосибирск.

На студии было принято, чтобы администратор подбирал группу по пути в аэропорт. Мы с ассистентом Олегом загрузили съемочную аппаратуру, заехали за оператором, потом за режиссером. Время было вечернее, водитель боялся гнать. Короче, прие-

хали мы во Внуково, когда не только регистрация, но и посадка в наш самолет закончилась.

— Ну, пропал! — загудело в моей бедной голове. — *Царь, царевич, король, королевич...*

От отчаяния я сделался храбрым, как заяц.

— Задержите самолет! — стал требовать я. — Мы летим на правительственную съемку! В Академию наук! Наш режиссер — народный артист!

Я бы много чего напридумывал — деваться-то было некуда. Не везти же группу домой, а потом расплачиваться за пропавшие билеты!

К счастью, служащие аэропорта смиростивились и велели бежать с нашим грузом, пока трап не убрали. Самолет не пришлось задерживать.

Из письма жене:

1.11.1959 года.

Привет вам из замороженного Новосибирска! Сегодня здесь очень холодно, Стоит солнечная, морозная погода, и люди бегают по улицам, пряча носы и уши. Чувствуется: это Сибирь!

Прилетели мы днем 28.10. После 2,5 часов полета мы приземлились на омском аэродроме и узнали, что до 3 часов ночи полет прерывается — Новосибирск не принимает. Нас отвели в гостиницу при Аэропорте и положили спать на раскладушках в коридоре. Мы попытались поспорить по поводу номера, но из этого ничего не вышло, и мы улеглись в коридоре, по которому впотьмах бродили постояльцы и натыкались на наши тела (в основном, задевали за большой палец ноги). Продремали мы до 7 часов,

Вот пример односторонности нашей системы: ТУ-104, стюардессы (симпатичные), ужин (отбивные, чай с лимоном, булка с маслом и сыром, яблоко) и ночлег в коридоре.

В 7-30 полет продолжился. Мы сделали скачок(подъем и спуск) из Омска в Новосибирск (700 км) за 50 минут. Ночью мы летели на высоте 9400 метров в полной темноте, конечно. А днем очень интересно, но недолго. В несколько минут мы пробili облака и забрались гораздо выше их. Отсюда они казались клочками ваты или снегом. Земли не было видно. Только перед самым городом мы снова пробili облака и несколько минут летели по нижней кромке их, то ныряя в облако, то выходя из него. Уши при спуске у меня страшно болели.

Самое интересное, что аэродром находится в 35 км от города, такси нет, и автобусы ходят нерегулярно. Мы ждали больше часа, промерзли, пока не появился слу-

чайный замурзанный ЗИМ. В гостинице, конечно, мест не было, мы пошли в горком, в исполком, и нас все-таки устроили.

На следующий день мы ездили на строительство Академгородка и убедились, что снимать там нечего. Здесь был Хрущев и все разгромил. Все в панике, летят головы, и хотя строители были правы, ни у кого не хватило смелости доказать это. Нам показали местную хронику, где Хрущев буквально рвет и мечет у макета жилой части городка. Очень некрасиво! Короче говоря, вчера я проводил своих гавриков на поезде в Ташкент, сам получил сегодня деньги в банке(из-за них я проторчал здесь лишние четыре дня) и в понедельник вылетаю на ТУ-104 в Ташкент.

Только позже я узнал, что Хрущев прилетел в Новосибирск из Пекина, где страшно разругался со своими китайскими товарищами. Вот потому-то он так рвал и метал. Причем рвал в буквальном смысле слова. На экране было отчетливо видно, как Никита злобно выламывает из макета корпус высотного здания — архитектурной доминанты Городка.

Между прочим, в штабе Академгородка я встретил школьную подругу Люсю. Они с мужем там работали. К сожалению, поговорить толком не удалось: меня торопила группа, а ее — муж. Больше я Люсю никогда не видел.

Улетал я из Новосибирска в крепкий мороз. Было 25 градусов. И еще раз почувствовал на себе прелести нашего ненавязчивого сервиса. Привели к самолету, а трапа нет. Мы сгрудились в плотную кучу и сорок минут кружились каруселью, притоптывая, на ветру и морозе. Я остался без ушей и без ног.

Но вот что значит техника! ТУ-104 доставил меня в Ташкент за 50 минут. Здесь было 20 градусов тепла. У меня еще болело ухо, замерзшее в Новосибирске, а кругом цвели георгины, канны, астры, пахло теплой землей и шашлыками. Я ходил по городу и наслаждался теплом. Благодать! В Москву бы такую осень!

В Ташкенте уже был Капул. Теперь он руководил и работой группы, и ее досугом. Это руководство вышло нам боком.

Оказывается, у себя в номере Капул нашел на столе записки с именами «Ира», «Нина», «Виолетта» и их телефонами. Капул справедливо решил, что это «девочки по вызову» и не нашел ничего лучшего, чем пригласить их отметить с нами ноябрьские праздники.

— Погуляем! — радовался он.

Вежливый Юра Беренштейн только плечами пожал. А я промолчал: не знал, как это «гулять» с девочками.

Капул был настойчив. Заставил меня пройтись с ним по базару, купить еды, фруктов, вина. Готовился к празднику.

7-го ноября в 12 часов мы были за празднично убранном столом. Девушка пришла только одна. Да и самого Капула не было. Подождали его немного, потом я пошел искать. Нашел на площади перед гостиницей.

— Понимаешь, — оправдывался директор, — у меня же в Москве невеста. Утром звонил: она сидит у отца, скучают они оба. И что-то стало мне стыдно... Гуляйте без меня!

Ну, и фрукт. Сам все затеял. Сам же и слинял. Какие из нас с Юрой гуляки...

В общем, выпили мы, закусили, а как «гулять», не знаем. Один ассистент Олег с девушкой веселится. Уже на брудершафт пьют. А когда они вдвоем под стол полезли — потерянную сережку искать, мы с Беренштейном поняли: пора деликатно удалиться.

Мы часа четыре слонялись по городу. Это было еще до землетрясения. Город выглядел вполне азиатским. Если не считать красных флагов, портретов вождей и искусственных цветов в гипсовых вазах. А так — мелькали пестрые халаты, женщины кутались в черные платки, проезжали старики на ишаках. Только слонов не хватало.

— Знаешь, — не выдержал, наконец, Юрий Иосифович, — хватит уже. Я устал. Пора им и честь знать!

Мы помедлили перед закрытой дверью, потом все-таки постучали.

— Открыто! — пригласил нас Олег. Он был весел и румян. Девушка уже ушла.

— Что было! Что было!

Восторг прямо переполнял его.

— Что она со мной вытворяла!

Но увидев наши не самые добродушные лица, прикусил язык.

Снимали мы в Ташкенте ядерный реактор. Нас одели в белые комбинезоны, положили в нагрудные карманы по дозиметру и велели следить, чтобы красная лампочка на нем не загоралась. Собственно, кроме чувства близкой опасности да дрожащих стрелок на пультах, ничего особенно интересного в реакторе не было.

Я листаю страницы моей памяти — и вот мы уже в цехе Рижского радиозавода. Снимаем сборку приемников на конвейере. Интересно: движется лента с деталями, а над ними колдуют девушки в белых халатах. Девушки сидят на табуретах, которые укреплены на кронштейнах. Кронштейны позволяют девушкам перемещаться вдоль конвейера — параллельно плывущим мимо них платам с разными там резисторами. В ру-

ках у девушек паяльники, их окутывают легкие дымки. Пахнет канифолью. Играет тихая музыка.

Девушки симпатичные. И вот уже оператор Боря явно «клеится» к молоденькой блондинке. А Саша Капул «кадрит» смуглую брюнеточку. И даже сам режиссер ведет светскую беседу с все еще привлекательной мастерицей.

О чем-то все договариваются.

А я иду вдоль конвейера. Забавно же: прямо на глазах пустая плата с золотистыми полосками обрастает деталями, «полнеет», вставляется в футляр, включается в сеть. И вдруг это собрание пластика, металла, стекла оживает — шипит, говорит, поет. Приемник готов!

Мы живем в отеле «Рига» в номерах с видом на оперный театр. В кафе при отеле я впервые пробую кофе с коньяком. Смотрю, как это делает Капул. Повторяю за ним. Ничего, пить можно..

Рига — красивый город. В нем как-то естественно перемешаны старина и модерн. Можно любоваться и тем, и другим. И от ухоженных скверов, от домов и от людей веет каким-то благополучием.

А как там кормят! Я завтракал в кафе «Луна»: картошечка с творогом и взбитые сливки с бисквитом. А на обед — крестьянский завтрак: все, что было под рукой, залито яйцами и зажарено. Много и вкусно!

Но самое яркое впечатление — рижский гастроном! Что-то совсем не советское. Окорока на стенах, связки сырокопченых колбас, корзины с конфетами и орехами. И открытый доступ к товарам. Господи! Сколько нам еще предстояло прожить, чтобы дожждаться такого же изобилия в наших универсамах!

Моим соседом по номеру был ассистент оператора Саша Адамов.

Небольшого роста крепыш, аккуратный и расторопный. В первую ночь я проснулся, стоя над его кроватью и поправляя на Саше одеяло. Что делать, привычка проверять, как спит дочка, стала у меня рефлексом. Не знаю, что подумал обо мне Саша.

По вечерам он рассказывал о своей службе в армии. Служил он на Западной Украине, где до последнего времени шла самая настоящая война с бандеровцами.

— Днем они прятались в «схронах» — глубоких землянках, — вспоминал Саша. — Пройдешь по такой и не заметишь... А по ночам наведывались в села, расправлялись с «советскими». Устраивали засады на дорогах... Мы понимали, без помощи местных им бы не продержаться... Но иди, проследи...

Самым памятным оказался для Адамова случай, когда его оставили на ночь в хате, хозяек которых подозревали в связях с бандитами.

— Наши устроили обыск. И меня под шумок запихнули под кровать... Ох, и натерпелся же я! Особенно, когда девушки стали мыть ноги перед сном. Таз с водой поставили у самого лица. Забрызгали меня всего... Потом улеглись вдвоем на кровать, я чуть не заорал — матрац просел и придавил меня. Еле утра дождался... А, главное, ни о чем таком они не гутарили. Докладывать было нечего.

Саша опасливо посмотрел на меня.

— Слушай! Если что, я тебе ничего не говорил!

В воскресенье мы с ним уселись у окна. Было забавно наблюдать, как перед торцом оперного театра вышагивает взад и вперед наш оператор Боря. Ожидает девушку, которой назначил свидание. В какой-то момент к нему подошел директор Капул. Поговорили о чем-то, и Капул побрел к другому торцу Оперы. Тоже на свиданку. Шустряки ребята!

Нам стало любопытно. Мы спустились и, прогуливаясь, прошли мимо Бори. Заложив руки за спину, он довольно нервно прохаживался в грустном ожидании.

А у другого торца театра так же нервно дефилировал Капул.

«Где ты, где ты, где ты,

Друг хороший мой?

Буду до рассвета

Встречи ждать с тобой» — вспомнил я слова популярной песни.

Умыли их девушки!

Но это не все. Возвращаясь к себе, мы прошли мимо номера режиссера Бориса Натановича. Дверь была приоткрыта, и хорошо был виден красиво сервированный стол: икорка, балычок, колбаска и бутылка коньяка. Но, кроме хозяина, в номере никого не было.

Когда слегка сконфуженные коллеги вернулись, было решено отправиться в Юрмалу. Через час электричка доставила нас прямо на взморье. Шел январь, и зимний пляж тянулся голой пустыней. Море у берега было покрыто тонким льдом. Белым дымом пыхал вмерзший в лед пароходик. И в тишине одинокий голос выводил что-то совсем не местное:

Ой ты, белая береза,

Ветра нет, а ты шумишь...

У меня до сих пор хранится фотография: четверо москвичей в теплых пальто, а за ними километры безлюдного пляжа. Память о коротком дне у замерзшего моря.

Итак, шел 1960-й год. Год далеких и близких событий Кто-то опустился на дно Марианской впадины. Кто-то изобрел лазер. Кто-то отправил в космос Белку и Стрелку. Кто-то танцевал под Майю Кристалинскую. Кто-то стучал ботинком по столу в ООН. Кто-то голосовал за Джона Кеннеди.

А я работал старшим администратором. И не подозревал, что каким-то краем участвую в событии, которое тоже станет вехой в истории.

Я работал в группе, снимавшей фильм о докторе Демихове. Вот! Компьютер подчеркнул эту фамилию красным. Ее нет в его словаре. Это большая несправедливость, что до сих пор имя Владимира Петровича так мало известно у нас в стране.

Мы нашли его в подвале Института Склифосовского. В коридоре веселились студенты — сегодня была годовщина чего-то. Они ели торт, а в открытую дверь прозекторской были видны свеженькие части человеческого тела.

Демихов работал в крошечной тесной лаборатории. На мраморном столе лежала готовая к операции собака. Меня подташнивало от запаха формалина и от того, что мне предстояло увидеть.

Пока ставили свет, Владимир Петрович вскрыл грудную клетку собаки. Я смотрел на это сквозь сжатые веки. Но постепенно любопытство брало верх — я расширил щелочки глаз и вдруг обнаружил, что стою у самого стола. А доктор Демихов работал и рассказывал в микрофон:

— Извлекаем сердце вместе с легкими. Видите, оно еще работает!.. А теперь пересаживаем на его место донорское сердце... Сшиваем сосуды... Дефибрилятор!.. Готово! Сердце бьется!

Это было похоже на фокус. Никто из нас не понимал, что стоит у истоков чуда, которому предстоит изменить человеческую жизнь.

— Меня за это бьют, но уверяю вас — говорил Демихов, — не за горами время, когда пересадка сердца человеку станет обыденным делом. Причем, учтите: грудная клетка человека просторнее, сосуды крупнее — так что подобная операция окажется даже легче, чем у собак.

На следующий день мы снимали проснувшуюся от наркоза собаку. Симпатичная чёрно-белая дворняжка вставала, ходила по комнате, пила воду, ела.

— Она будет жить долго! — уверял нас Владимир Петрович. — Если ее иммунная система не восстанет против чужеродного органа... И если у меня хватит денег на ее содержание, — грустно добавил он.

И тут я храбро выступил вперед:

— Владимир Петрович, у нас в смете заложены кое-какие средства...

Так я стал содержателем этого живого чуда. Я покупал корм. Несколько раз заставлял в подвале иностранных хирургов. Иди знай, что среди них был и Кристиан Бернард!

Спустя месяц собачка все еще жила. Она уже стала узнавать меня и дружелюбно махала хвостом. Тем тяжелее было признаваться Демихову:

— Владимир Петрович, деньги кончились...

Доктор только головой покачал.

— Лабораторию хотят закрыть. А опыты по пересадке запретить. Не верят, что у них есть будущее.

Пройдет десять лет, и Кристиан Бернард, хирург из Южной Африки, проведет первую операцию по пересадке сердца человеку. В беседах с журналистами он не раз станет называть доктора Демихова своим учителем.

«Я не Кая, я Шая!».

Такой анекдот ходил по студии о директоре картины Саше Кацисе. По жизни он был Александром Ефремовичем, а по паспорту — Шаем Фроимовичем. И как-то в бухгалтерии ошиблись и перевели ему деньги на имя Кая Фроимовича. Конечно, в банке его завернули. Вот он и отправил телеграмму: «Я не Кая, я Шая!».

Он стал моим новым директором. А картина называлась «Плюс электрификация». Режиссером был Николай Федорович Чуриков — один из «столпов» научно-популярного соцреализма. Объектов съемки было немеряно, поэтому режиссер пригласил на картину двух операторов: Миссюру и Кочурьяна. Каждому полагалась маленькая группа. С Кочурьяном должен был работать сам Кацис. А с Миссюрой я.

Аркадий Вениаминович Миссюра начинал фотографом. В кино сначала был оператором-мультипликатором, потом ассистентом, фронтовым оператором. Стал известен после съемок с режиссером Долиным фильма «Звериной тропой». Какой человек Миссюра, мне еще предстояло узнать.

Нам предстояло объехать чуть ли не полстраны. По электростанциям и гидроузлам. Начинать надо было с Азербайджана. 1-го мая мы вылетели в Баку.

Из письма жене:

8.05.1960 г.

Долетели мы очень хорошо. Скорость у ИЛ-18 меньше, чем у ТУ-104, но он, конечно, надежнее. Перелет я перенес очень хорошо. Нас кормили (даже черной икрой!). В Баку нас встретили представители треста и отвезли в гостиницу «Баку». Мы с Миссюррой живем в двойном номере (далеко не люкс). 5-го мая приехали еще двое наших. С устройством очень сложно. Один живет у родственников, другой — нелегально у нас в номере.

Баку очень большой, красивый, вполне современный город. По вечерам народ гуляет по улицам, причем очень много красивых девушек и очень много красивых юношей (знаешь, в таком арабском стиле — под Насера, с усиками). Только странно: все очень молодые и красивые женщины таскают на руках детей. В каком возрасте они их рожают — неясно.

В Баку сейчас тепло, Два вечера подряд мы снимали виды ночного Баку из парка, а завтра выезжаем в район на электростанцию. Числа 13-14 выедем в Ереван.

Кормят здесь отвратительно. Как далеко от Риги. Увы! Питаемся мы в кафе и столовых. Это не та группа, которая ходит по ресторанам. В суточные я даже укладываюсь, но и только. Сегодня воскресенье, и мы сейчас собираемся на базар. Здесь пока есть только редиска. Никаких плодов и ягод. Да их и летом-то, говорят, не бывает. Это не та республика.

Пока я еще не очень скучаю. Время летит быстро, скучать некогда. Хорошо бы так до самого конца. Скучать по дому не так уж приятно. Я думаю, что раньше срока мы едва ли приедем.

В Баку нас опекала веселая девушка Ната. Это она устроила нам гостиницу. Она же помогала с транспортом. Жаль только, что выезжать с нами она не могла.

А выехать нам пришлось — в гиблое место под названием Али-Байрамлы. Это котловина, где жара доходит до 40 градусов. Кругом степь, ни деревца, только вдали тянется цепочка зелени вдоль Куры.

Снимали мы строительство ГРЭС. Мы таскались по стройке под невыносимым солнцем. У меня просто сгорели руки и шея. Ассистент режиссера Миша Ракитин вообще слег с тепловым ударом. Мы насквозь пропылились, грязь действовала на нервы. И в довершение всего есть было нечего. Кончилось тем, что я пошел к повара какой-то забегаловки и попросил накормить московскую киногоруппу. Нам вынесли нечто, дымящееся на сковороде и посыпанное зеленым луком. Оказалось, съедобно.

— Как называется это блюдо? — спросил я у повара.

— Бараньи яйца.

Сценария у нас не было. Только список рекомендуемых объектов. И мне было любопытно, что выберет Миссюра. Это хоть немного скрашивало тяготы здешнего пребывания.

Миссюра снимал панораму строительства, работу экскаваторов, разгрузку цемента. Эффектнее всего выглядели сварочные работы. Мне казалось, что можно было бы больше снимать крупные планы строителей. Но свое мнение я держал при себе.

Из письма жене:

Май 1960 г.

Три дня мы промучились в Али-Байрамлы. Это скучное, пустынное, забытое богом место. Ну и серая же там жизнь, скажу я тебе. А ведь так живет сейчас подавляющая часть людей у нас в стране. Днем работа на стройке, грубая и дешевая пища, вызывающая изжогу, самое непритязательное жилье, кино по вечерам — в этом круге вертится жизнь 70 процентов населения.

Если бы ты знала, с каким наслаждением я залез под душ, когда мы вернулись в Баку, смыл с себя грязь и словно заново родился! Приятно было дотронуться до своих волос.

Сегодня мы ездили на морские промыслы. Все же наша профессия интересна своим разнообразием, Вчера электростанции, сегодня нефтяные вышки и эстакада, уходящая в море.

К сожалению, купаться еще рано. Так что мои плавки лежат на дне чемодана.

Из Баку мы уезжали в Ереван. Нас провожала девушка Ната.

— Передайте в гостиницу привет от Наты! — напутствовала она нас. — Вас примут как Иранского шаха!

Из письма жене:

19.05.1960 г.

В Ереван мы ехали поездом. Весь день поезд шел вдоль границы, иранской и турецкой. Граница проходит в 2-х метрах от линии железной дороги. Она идет по реке Аракс — узкой, но бурной. С нашей стороны закрыта колючей проволокой, строго охраняется (в поезде дважды проверяли документы), на станциях дальше перрона не

пускают. А с «их» стороны ни единого колышка, полное безразличие к границе. Очень символично — это же нас держат за колючей проволокой. Я чувствовал себя словно в концлагере. К тому же в тамбурах стояли пограничники с оружием. Прелестная картина! Мы с интересом наблюдали за жизнью за границей. Капиталисты скромно пахали на волах (или буйволах) свои надель, сеяли рис, пасли стада. Наемники империализма, сидя на крышах своих застав, болтали ногами и не обращали на нас никакого внимания, А все кругом было красно от маков. Вечером мы впервые увидели Арарат, и с тех пор он все время белеет своими снегами — символ Армении за турецкой границей.

— Привет от Наты? — не понял администратор гостиницы. — От какой Наты?

И все-таки принял нас. Не как шаха, конечно, но вполне достойно. А ночью даже был устроен салют: под окнами гостиницы стреляли. Боже, куда мы попали!

А попали мы в красивый город. Ереван меньше Баку, но в нем тоже есть своя прелесть. Она — в камне его зданий, в великолепной центральной площади, на которой мы живем. Это роскошный ансамбль из мрамора, туфа и других превосходных по цвету материалов.

Снимать мы начали с озера Севан. Севан — еще один символ этой страны. Его называют «слезы Армении». В ходе съемок до нас дошло, как ему подходит это название. Армения бедна гидроресурсами. И вот какому-то безумцу пришла в голову мысль увеличить поток воды в реке Раздан, вытекающей из Севана и поставить на ней каскад электростанций. Эта река текла испокон веков, и ее скромный сток не влиял на уровень озера. Но после строительства каскада, вода стала уходить из Севана, и озеро мелело на глазах. Говорят, безумец, придумавший эту затею, до сих пор прячется от разъяренных армян.

Севан был сказочно красив, И богат форелью, которую мы ели в ресторане, раньше стоявшем на острове. А потом мы видели, как ее ловят. Рыбаки угостили нас свежей паровой рыбкой, сваренной в ведре с раскаленным камнем. Вещь!

В чем нельзя отказать каскаду, так это в красоте станций. Они вырублены в скалах и внутри напоминают сказочные пещеры Али-Бабы. Полированный камень сияет отраженным светом, стены искрятся кусочками кварца. И тишина — словно до сотворения мира.

В наше время станции работали в полсилы — все-таки «слезы Армении» оказались дороже экономической выгоды.

На этих съемках я тоже следил за выбором Миссюры. А чтобы снял я? Иногда наше видение совпадало. А иногда, только уходя с объекта, я понимал, что интересного нашел в нем оператор.

Мир тесен. В гостинице Ереван жила еще одна съемочная группа. И ассистентом оператора была там... Лида Никитина. Привет из Ленинграда!

Все вместе мы отправились в Эчмиадзин — место пребывания католикоса всех армян. Оказывается, Армения — чуть ли не первая страна, принявшая христианство. По дороге мы проехали мимо трех церквей, поставленных на местах убийства толпой язычников монашек-мучениц. А на обратном пути фотографировались на развалинах Звартноца — античного храма. Мы с Лидой с легкой грустью вспоминали Ленинград. А не была ли она в Ереване уже оператором?

Из письма жене:

31.05. 1960 г.

Наш ассистент режиссера Миша Ракитин из Еревана уехал в Москву, Он почувствовал себя очень плохо — что-то с сердцем — трудно дышать было. Вызвал неотложку, врач сказал: невроз. Не знаю, отчего: то ли от жары, то ли от высоты (мы несколько дней подряд ездили на озеро Севан — 2 тыс. метров над морем). В общем, он уехал, и мы вздохнули — очень непросто, когда в группе больной.

С Миссурой мы живем дружно. Он мужик покладистый, а работает так, что я его прямо зауважал. Никакого гонора, никаких капризов. Такому никакой режиссер не нужен.

Из Еревана мы должны были перебираться в Тбилиси. Я думал, думал и надумал ехать туда на интуристовском ЗИМе. Получалось на дорожке, чем поездом, но быстрее и удобнее: от дверей ереванской гостиницы к дверям тбилисской.

Зато какое удовольствие мы получили от дороги! Сначала подъем к озеру Севан. Потом еще выше — выше облаков. Через перевал к границе двух республик. Нас поразила колючая проволока там — наверное, память о недавней «футбольной» войне между армянскими и грузинскими болельщиками.

Мы спускались уже по грузинской земле, по горным склонам, покрытым цветущими маками.

Немного лет тому назад,

Там, где, сливаясь, шумят,

*Обнявшись, будто две сестры,
Струи Арагвы и Куры,
Был монастырь.*

Это Михаил Лермонтов. Это поэма «Мцыри». И это Мцхета — древний город, известный еще более древним монастырем и монументальной статуей Ленина.

Мы, естественно, не должны были пройти мимо нее. И мы снимали. Но с гораздо большим энтузиазмом мы любовались холмами Грузии, картиной слияния легендарных рек и седыми камнями собора Светицховели. От всего этого веяло духом Времени и покоем. И хотелось, чтобы все, кто тебе дорог, были рядом в эти минуты и разделили чувство снисходившего на тебя умиротворения.

Но это лирика. Дело в другом. Я, как и в предыдущие дни, видел теперь мир немногими глазами. Я старался представить, как все это будет выглядеть на экране. Это было неожиданно интересно и делало мое пребывание на съемках чуть осмысленнее.

Два вечера мы снимали с горы Мтацминда. Поднимались туда на фуникулере. И не могли насмотреться на сияющий огнями город.

Кормили в Тбилиси вкусно, но дорого. Но питание в дешевых столовых обходилось еще дороже. Скрашивало жизнь «кахетинское» и «сиропы Лагидзе».

В стакан наливали хорошую порцию сиропа и разбавляли его «Боржоми». Вкус напитка навсегда связался у меня с Грузией.

А потом мы пили «Боржоми» из натурального источника. Нас посадили в кабину электровоза, и мы поехали снимать линии электропередач. Моя задача была — предупредить Миссюру: «Столбы!». Часа через два мы пересели в вагон узкоколейки и оказались в знаменитой долине. К павильонам с минералкой мы не пошли. Интереснее же было подставлять ладони теплой струе, бьющей прямо из трубы и пить чуть солоноватую и еще не газированную воду.

Ближе к вечеру мы доехали до Кутаиси. Нас ждал грузовик с открытым кузовом. И мы затряслись по узкой горной дороге. Чем выше, тем круче, тем уже становилась колея, тем отвеснее скалы. В тесном ущелье водитель притормозил машину.

— Твиши! — показал он рукой на почти вертикальную стену. Вот мы где! Я знал, что это место знаменито не только прекрасным грузинским вином с тем же названием. По преданию, именно к этой скале был прикован Прометей. И сюда слетал коршун — клевать его печень.

Дальше пошли места совсем дикие. Мы ползли вплотную к скале, а в другую сторону лучше было не смотреть. Дорога обрывалась в пропасть. Мы сидели, затаив дыхание. Потом чуть полегчало: ущелья стали шире, и горы не такими голыми. И все равно, человеком здесь как будто и не пахло. И вдруг...

Из узкой теснины вышли две женщины в ярких платьях и с зонтиками от солнца. Они беспечно помахивали сумочками, не обращая на нас никакого внимания. Будто гуляли по бульвару. Странная картина. Что вы хотите — Грузия!

Мы приехали в Ладжанури. Миссюра просветил меня: здесь строилась первая в нашей стране арочная плотина для гидростанции. В узком скалистом ущелье такая выгнутая дугой плотина могла удерживать большой напор воды. К тому же она была легче обычных — не такая массивная.

Нас взял на попечение молодой красавец Чубинидзе, сын главного инженера. Он был начальником информационного отдела и провел нас по всем объектам. Теперь я уже не тащился покорно за оператором, а с интересом присматривался: что бы я выбрал для съемки? Что-то я угадывал, а что-то — нет.

Аркадий Вениаминович, видно, заметил мой интерес. Наведя камеру на гребень плотины, он вдруг позвал меня:

— Посмотрите!

Ого! Этого мне еще никто не предлагал! Я прильнул к окуляру. Чернота...

— Нажмите лбом резинку!

Вот теперь я увидел.

— Красота! — только и вырвалось у меня.

Мы снимали водохранилище, машинный зал, вырубленный в скале, смонтированные турбины. Станция была почти готова к пуску.

В воскресенье любезный Чубинидзе устроил нам день отдыха. На грузовике повез в городок Амбролаули. Ехали мы долго и трудно. На каждом подъеме машина «спотыкалась», мы выскакивали из кузова и толкали ее вверх.

Остановку сделали в селении Хванчкара. Чубинидзе зашел в первый попавшийся двор и привел хозяина с кувшином охлажденного вина. Видно, прямо из погреба. Каждый получил по стакану, и началось грузинское гостеприимство.

Вино «Хванчкара» считалось в Москве деликатесом. Поэтому первые стаканы мы выпили с удовольствием. Запивали витиеватые хозяйские тосты: за мирное небо над мирными горами, за благополучие всех, кто пашет землю и растит плоды, и даже за тех, кто в море и в дозоре... Когда уже пить больше было не вмоготу, хозяин побулькал вином в кувшине:

— За ваших детей!

— За детей ваших детей, которые будут лелеять вашу старость!

Короче, ну как было отказаться. Переполненные, как бурдюки, мы тяжело толкали машину, и скорее поздно, чем рано, доставили себя в Амбролаури. Ассистент Гена Ершов запечатлел нас, хорошо осоловевших, на мосту через реку Риони. Фотографию могу показать.

Мы вкусно поели, впервые за несколько дней, и «добавили». Обратной дороги я как-то не заметил. Но машину-то мы, наверное, толкали...

В последний день я набрался наглости и предложил Чубинидзе оформить документ на оплату рабочей консультации. За нее полагалось триста рублей.

Наглость была в том, что деньги эти я должен был отдать ассистенту Гене за подсобные работы. Язык у меня заплетался от стыда. Но:

— Нет проблем! — успокоил меня хороший человек.

Из Тбилиси мы улетали на рассвете. Пока набирали высоту, солнце уселось на край земли, и мы увидели фантастическое зрелище. Справа и слева проплывали сверкающие на солнце вершины. Казбек и Эльбрус! Ничего величественнее я в жизни не видел. Нет, все-таки замечательно работать в кино!

Здравствуй, Москва! И до свидания! Проявили материал, Чуриков, вроде, доволен. И снова в путь. На этот раз — вниз по матушке-по Волге.

Но сначала — на поезде в Ульяновск. Прямо с вокзала — к статуе Ленина. Сняли — а как без него! И решили больше на родине Ильича не задерживаться. На пристани сели на пароход, и в 5 часов утра были у Волжской ГЭС.

Забавная история вышла. Мы решили начать с общего плана станции и плотины. Нас привели на бетонную площадку над станцией.

— Отсюда все снимают!

Мы с Миссурой переглянулись: «Не хотим быть, как все!». И полезли искать свою точку. Лазили, лазили, примеривались. Все не то. Плотина длинная — иди, втисни ее в кадр! Я уже начал кое-что понимать в композиции и перспективе. И застенчиво соглашался с Миссурой, когда он решительно переходил на другое место. Наконец, нашли точку, которая нас устраивала.

— Аркадий Вениаминович! — говорю, — а ведь это место, на которое нас приводили.

Смотрю: в бетоне три дырки — от ножек штатива. Предыдущие группы протерли.

Плотину снимали кусками. По нашей просьбе приподняли несколько заслонок, чтобы увеличить водослив. А то, что это за плотина без потоков воды! В машинном зале пустили вдоль него мостовой кран с какой-то деталью. Стало не так стерильно голо.

Что меня поразило, так это огромные бревна, которые бились о наружную сторону плотины. Присмотрелся — да это же гиганты-сомы! Испокон века они поднимались вверх по Волге — на нерест. Плотина перекрыла им ход.

Жили мы в городе Жигулевске, в доме для приезжающих на ГЭС. Все в этом городе было временное, слепленное на скорую руку. Кроме оладий в столовой, вкус которых долгие годы сохранялся во рту.

Развлекал нас ассистент оператора Глеб. Он был сыном актрисы Максимовой — вечной колхозницы. От нее у Глеба была некоторая добродушная грубоватость, которая, вероятно, нравилась девчонкам. Во всяком случае, маленький табунок их все время ошивался в нашей комнате. И тут вдруг моему Аркадию Вениаминовичу ударил бес в ребро. Он вздумал довести до их сведения стандарты парижской моды. Девчонки принесли сантиметр, и оператор принялся обмерять их размеры.

— Восемьдесят — шестьдесят-восемьдесят! Вот стандарт! — объявлял он. — А у вас?.. А у вас?..

Девчонки жеманно хихикали, а ассистент режиссера Миша Ракитин пускал слюну. А мне-ханже было от чего-то неловко.

На пароход мы отправились без Глеба. Он прибежал перед самым отплытием.

— Ну? — накинулся на него Ракитин.

— Что «ну»? Не видишь — все в ажуре!

— Какая же из девчонок?

— Чернявенькая...

Дальше наш путь лежал к Сталинграду. Мы плыли на роскошном теплоходе «Родина», построенном в Германии. Волга то стискивала нас берегами, то раскидывалась до самого горизонта. Было в этой реке что-то такое же вечное, как у гор, как у океана.

— Аркадий Вениаминович, снимайте! — приставал я к оператору.

— Не было такого задания, — отбивался он.

Оказалось, что на съемки требуется разрешение капитана. Я удивился — что за чушь? Но потом понял, когда вместе с лесом поплыли торчащие выше деревьев не то железные мачты, не то пусковые установки.

Несколько дней мы прожили в свежеиспеченном городе Волжске.

Из письма жене:

15.07.1960 г.

Сейчас мы живем в гостинице в очень приятном молодом городе Волжске и снимаем и снимаем строительство Сталинградской ГЭС. Огромная стройка, масса нового и невиданного, но тяжело. Сегодня целый день были под солнцем, зажарились. Сейчас вечер, но в номере все равно душно, и все тело ноет от перегрева и усталости. Были в Сталинграде, насколько успели заметить, красиво отстраивают город.

Ну, Сталинграда мы практически не видели. Сразу поехали на Тракторный завод. И тут выяснилось, что головотяп Глеб не взял с собой паспорт. Пропуск нам выписали на троих. Каким-то чудом проехали все четверо. Сняли пару планов. Но на выезде нас притормозили:

— А где пропуск на четвертого?

Чем это могло кончиться, как говорила моя бабушка «айн гот веймс»: один бог знает. Но я уже на своей работе усвоил: лучшая оборона — наступление.

— А как же вы нас сюда пропустили! — нагло заявил я. «Вам же, мол, за это тоже попадет!».

Охрана призадумалась... и выпустила нас.

Хорошо, что в те времена в самолет пускали без паспорта. Иначе пришлось бы нам лететь в Донбасс втроем. И даже вдвоем, потому что Миша Ракитин опять занемог и запросился в Москву. Я даже вздохнул свободнее — надоело беспокоиться о его здоровье. И потом: с чего это ему становится хуже в разгар самых трудных съемок? На жару, на высоте?

Сегодня я вспоминаю его руки со сморщенной, заскорузлой кожей. Когда-то он летел в загоревшемся самолете. Горела проводка, и Миша принялся тушить голыми руками тлеющий пластик. Видно, пострадали не только руки...

О съемках в Донбассе и вспомнить нечего.

Из письма жене:

23.07.1960 г.

Мы живем в поселке Новый Свет, рядом со строительством станции. Вчера мы прилетели на ИЛ-14 из Сталинграда в Сталино. Сегодня мы снимали. Жара здесь адская, пекло какое-то. Поселок маленький, скучный, есть нечего — тоска. Мы решили в ударном порядке снять все и скорее сматываться на следующий объект. Это будет

Воронеж. У нас кончается пленка. Миссюра, вероятно полетит за ней в Москву, а мы будем ждать его в Воронеже.

Это было что-то новое — под Воронежем мы снимали строительство атомной электростанции. Строили ее в двадцати километрах от города: чтобы в случае чего город не пострадал. Собственно, ничего особенного в стройке не было. Арматура, бетон, сварка. Только сознание, что мы стоим на дне атомного реактора!

Какая-то нелегкая толкнула меня лезть к Миссюре с непрошенным советом: снять сварщика с самой нижней точки — в необычном ракурсе. Миссюра только отмахнулся. Видно, я обиделся, раз помню это до сих пор. Правда, когда сварка заработала, сноп искр просыпался именно на то место, на которое я указывал оператору.

Из Донбасса мы летели в Ростов на стареньком ЛИ-2 (американском «Дугласе»). Я думал, самолетов меньше этого не бывает. Оказалось, есть еще и АН-2. Не к ночи будь помянут! Этот «кукурузник» должен был доставить нас в Цимлянск. Лететь надо было всего сорок минут. Но каких! Маршрут пролегал над излучинами Дона. То земля, то вода. То вверх, то вниз. Вверх — сердце кидается куда-то под ноги, вниз — оно бултыхается в голове. Мне хотелось кричать: «Остановитесь! Дайте выйти!».

А выйти-то я не мог. Когда приземлились, ноги не хотели выносить меня из самолета. «Нет, ребята, — заявил я, — обратно пойду пешком!».

В Цимлянске мы застряли надолго. И дело было не в съемках. Сняли мы быстро. Главный инженер ГЭС показал нам все самое интересное на этой станции — «великой стройке коммунизма», возведенной руками заключенных.

Она не только вырабатывала электричество, она делала возможным судоходство по Волго-Донскому каналу. Водохранилище перед плотиной было большим, как море. Проходящие корабли мы снимали трансфокатором — объективом с переменным фокусным расстоянием. Он позволял простым движением рычажка приближать пароходик с далекого горизонта до крупного плана иллюминатора. Таких в Москве было всего два. Чуриков смог «выбить» один для нас.

Застряли мы в Цимлянске из-за денег. Вернее, из-за того, что их не было. Студия должна была сделать перевод в Цимлянский банк. А у меня была доверенность на получение их. Через пару дней после приезда я и наведалься в банк. Приняли меня приветливо, но деньги еще не пришли. На следующий день явился снова. «К сожалению, нет!» — развели руками «банкиры».

На третий день Миссюра и Глеб пошли вместе со мной. Их тоже начала волновать судьба перевода: деньги у нас кончились. Нам не только не на что было перелететь на

Днепр, нам элементарно не на что было жить. На этот раз меня встретили уже не так приветливо.

— Звоните в вашу бухгалтерию! — посоветовали мне.

Я связался с главным бухгалтером Шваревым.

— Перевод сделан три дня назад! — уверил он меня. Как я мог не верить ему! Николай Иванович был частью студии. Говорили, что он даже спит у себя в кабинете — на письменном столе. Почему я сразу не позвонил директору Кацису, до сих пор не пойму. Стеснялся чего-то.

Пришлось искать сочувствия у главного инженера станции. Он достал из сейфа небольшой сверток.

— Профсоюзные взносы...

Денег было немного, но и на том спасибо. Мы с Миссюррой перешли на разгрузочную диету: брали в столовой порцию блинчиков с мясом на двоих.

А вот Глеб устроился лучше всех. Он завел роман с отдыхающей в местном санатории. Она подкармливала его. По ночам Глеб забирал из номера свое одеяло и отправлялся «на природу».

— Аркадий Вениаминович! — предложил я. — А давайте поставим камеру на берегу. И будем для желающих укрупнять корабли трансфокатором. Туда — два рубля. И обратно — два рубля.

Миссюрра только грустно улыбнулся. Но, чтобы совсем не деклассироваться, мы, и правда, потащили камеру на берег — вдруг что-нибудь интересное увидим.

Здесь-то и набрел на нас давний приятель Миссюрры. Он работал директором рыбсовхоза на другом берегу. Приятель любезно пригласил нас в гости.

— Обязательно накормит! — обрадовался я.

На хозяйском катере мы пересекли водохранилище. Рулевой почему-то вел катер не прямо, а все время лавировал. Я всмотрелся — что он обходит? На воде колыхались... гробы. Оказывается, строители водохранилища обрушили берег с кладбищем. Волны продолжали размывать его и выносить покойников из могил.

Нас, действительно, хорошо приняли и хорошо накормили. И дали с собой упитанного рыбца. На совесть просоленного. Мы продержались на нем и на воде целые сутки. И опять пошли в банк. Теперь нас снова было трое: к Глебовой пассии приехал муж.

— Нет ваших денег! — уже без всякой любезности заявили нам. И из задней двери вышел милиционер. На всякий случай.

На десятый день Шварев сокрушенно признался мне:

— Бес попутал! Платежка каким-то образом попала под стекло на столе...

— Эх, Николай Иванович!.. — только и мог сказать я.

Мы вернули долги и, наконец-то, могли выбраться из Цимлянска. Пути у нас было два: на поезде или на пароходе. И на том, и на другом — больше суток. И я выбрал АН-2! Сорок минут гораздо меньших мучений, чем в первый раз, — и мы в Ростове.

Плотина Днепрогэса до этого времени была открытым символом индустриализации. Но после того, что мы видели на Волге, она смотрелась бледновато.

Плыли мы вниз по Днепру. Меня поразили толпы поселян на пристанях, штурмующих буфет нашего теплохода.

— Что такого особенного там есть? — спросил я у матроса.

— Хлеб.

Это были последствия решения Хрущева закрыть маленькие пекарни в селах. Пусть, мол, хлеб выпекают городские комбинаты. Почему не поэкспериментировать — народ все стерпит...

В Кременчуге нас ожидало очередное приключение. Плотина электростанции перегородивала Днепр. Суда пропускались через шлюз. Миссюра решил снять проход корабля.

Он навел камеру на верхние ворота. Трансфокатор торчал из турели. Ворота открылись, и белоснежный красавец величественно вплывал внутрь. Мы стояли чуть сбоку, и Миссюра захотел следующий план снять «в лоб» — навстречу кораблю. Глеб куда-то отлучился, оператор взвали штатив с камерой на плечи и затрусил на мостик нижних ворот. Опуская штатив, он задел трансфокатором металлическое ограждение. Трансфокатор качнулся и вывалился из турели. Время как будто замедлилось. Я до сих пор помню это растянутое мгновение: драгоценный объектив плавно опускается вниз, слегка касается поручня и медленно-медленно погружается в темную воду. Мне кажется, будь я чуть проворнее, трансфокатор можно было подхватить.

На операторе лица не было. Он не сразу понял весь ужас происходящего. А когда понял, понес откровенную ахинею:

— Бегите к дежурному! Пусть не открывает эти ворота! Вода унесет объектив!

Я, конечно, побежал. Хотя понимал всю бредовость этой просьбы. Кто станет ради какого-то объектива задерживать следующий по расписанию теплоход и останавливать работу шлюза. На меня и внимания не обратили. Какое им было дело до того, что на дно ушли шестнадцать тысяч долларов!

Ворота открыли, и корабль ушел вниз по Днепру. А я стал ломать голову: что делать? К Миссюре лучше было не подходить. Хорошо, шлюзовики вспомнили, что ниже плотины стоит водолазный бот.

— Попробуй договориться с ними! — посоветовали они.

Уж не знаю, подействовал ли на водолазов мой потерянный вид или их соблазнили обещанные деньги, только они подогнали бот к воротам, водолаз сунул голову в шлем и по железной лесенке стал спускаться в шлюз. Затаив дыхание, следили мы за бульканьем пузырей на воде.

— Ни черта не видно! — пробурчал водолаз сквозь стекло шлема. У меня сердце упало.

— Дайте фонарь посильнее!

Он снова ушел под воду. Мне казалось, что в венах течет не кровь, а секунды.

И вдруг из воды показалась рука с зажатым в ней трансфокатором.

— Нашел!

Объектив был цел. Пока я рассчитывался с водолазами, недовольными маленькой, по их мнению, суммой (1000 рублей!), оператор с Глебом изучали повреждения, полученные объективом. На первый взгляд ничего страшного не было. Правда, внутри как будто плескалась вода.

— Надо срочно везти его в Москву! — решил слегка воспрявший духом Миссюра.

Везти так везти. Я взгромоздился в аэроплан и взял курс на родную столицу.

Мне предстояло как-то деликатно спустить наше происшествие на тормозах. Я решил начать с Абрамсона. Я уже знал, что при всей внешней жесткости, он способен на сочувствие и понимание. В самых ярких красках я описал состояние своего оператора, весь пережитый им ужас. Абрамсон «смягчил» ожидаемый нами удар — поговорил с Варенцовым, а тот утихомирил Михваса. Трансфокатор был отправлен на «Хронику» — там были мастера, научившиеся справляться с этими редкими объективами. Нам, конечно, надо было забыть о нем.

Возвращался я в Кременчуг через Киев. Один день провел у дяди, а рано утром вылетел дальше.

Миссюра ожил. Но, думаю, происшедшее оставило свой след на сердце и, в конце концов, здорово сократило его жизнь.

— А давайте махнем на выходные в Одессу! — пока что предложил он. А почему бы и нет?

Мы собрались и на двух автобусах добрались до славного города. И тут оказалось, что Аркадий Вениаминович везет нас не на деревню к дедушке, а по определенному

адресу. На окраине Одессы стояла декорация, которую снимала группа с нашего «Моснаучфильма». И первую, кого мы встретили, была... ассистент Ада! Тут-то я и задумался: ай да Аркадий Вениаминович! Впрочем, какое мне дело? Из откровений оператора я знал, что его жена доцент какой-то языковой кафедры. И что отношения у них как будто прохладные. Очень может быть, что к Миссюре прилип образ мальчика-ассистента, и дома не хотели замечать, что сегодня он не просто заурядный профессионал, а большой мастер, художник в своем ремесле. Думаю, ему не хватало капельки восхищения.

Одесса стала необходимым прорывом в беспечную жизнь. У Глеба нашелся приятель, который повозил нас по городу на мотоцикле с коляской. А потом мы купались и валялись на пляже. Я нечаянно вошел в воду, не сняв часы.

— Водонепроницаемые? — спросил Глеб и принялся трясти мою руку. Этого ему показалось мало, и он давай стучать этой рукой по камню. Вместе с часами.

— Стоят! — удовлетворенно сказал он. А я не знал, лезть с ним в драку или смеяться. Милая шутка!

Я помнил, с какой гордостью надел эту «Победу» в первый раз. Я шел по Цветному бульвару и то и дело подносил руку с часами к лицу. И все ждал, чтобы какой-нибудь встречный спросил у меня: «Который час?».

Ночью на старинном пароходе «Крым» мы возвращались из Одессы. Море светилось, и иногда по нему пробегали искрящиеся линии. Дельфины...

В Москве мы опять пробыли недолго. Только и успели сходить с Таней на итальянский фильм «Ночи Кабирии». Это был первый фильм Феллини, который я увидел. Он надрывал душу изображением страданий... кого? «Ночной бабочки», а проще сказать, заурядной римской проститутки. Замухрышки, захотевшей приобщиться к прелестям жизни в «обществе потребления». Тогда мы и термина такого не знали. Просто видели, что этой маленькой женщине очень хочется жить, «как все». И удивлялись, отчего мы так переживаем за нее — много раз битую судьбой, жалкую и осмеянную, верящую в чудо и обжигающую крылья на очередном огне.

В то лето мы успели еще побывать в Риге. Снимали ГРЭС в ее окрестностях. Жили в хорошем отеле, вкусно ели — вознаграждали себя за жаркое хлопотливое лето.

В магазинах здесь свободно стояли магнитофоны — моя голубая мечта. В Москве это страшный дефицит. Я ходил и облизывался, А Аркадий Вениаминович решился. И притащил в номер упакованного красавца по имени «Спалис». Мы, конечно, тут же

вскрыли упаковку, включили и по очереди наговорили что-то в микрофон. Звук был отличный. Довольный Миссюра пошел встречаться со своим другом Эзовым. Эдуард Давыдович был тоже оператором нашей студии. Но, в отличие от Миссюры, он в давние времена окончил киношколу Чайковского и успел стать лауреатом Сталинской премии.

Жил он так, будто все время чему-то радовался. А его жена сурово командовала студийными монтажницами.

Пока мой оператор гулял, я приготовил ему сюрприз. И когда он вернулся, с нетерпением стал ждать эффекта. Миссюра снова вскрыл упаковку — надо же показать другу свою обновку. Бобины с лентой закрутились, и вдруг из динамика зазвучал знакомый голос:

— Вы знаете? Вы слышали?

Гремит со всех сторон:

Аркадий Вениаминович

Купил магнитофон!

И дальше — все в таком же самодеятельном роде. Но публика благодарно принимала мое «творчество». Эзов даже по плечу похлопал:

— Да ты, брат почти Пушкин!

Миссюра тоже смеялся, да только не так весело. Теперь-то я понимаю, что лезть в чужую вещь и оставлять там непрошенные следы немного отдавало хамством. Но я, правда, искренне радовался за него. Хотя и немного завидовал.

Стучат по пальцам клавиши,

Летят по проводам

К далеким африканским и прочим берегам-

Летят, летят крылатые,

Прекрасные слова:

Внимание! Внимание!

Говорит Москва!

— Вы знаете? Вы слышали?

Гремит со всех сторон:

Аркадий Вениаминович

Купил магнитофон!

Осенью мы снимали декорации в павильоне студии. Квартиры с горящими лампами и работающими электроприборами. Ничего интересного не было. Зато в это время

наши мультипликаторы Миллиоти и Ризель показали свою работу. Эта супружеская пара должна была экранизировать девиз Хрущева: «Догнать и перегнать Америку!». Вот они и изобразили два электровоза, летящие по параллельным путям. В кабине ближнего к нам виднелось знакомое упитанное лицо. И когда этот локомотив победно вырвался вперед, лицо повернулось к нам и расплылось торжествующей улыбкой Никиты. Пожалуй, это была первая ласточка набирающего силу культика.

Той осенью произошло историческое событие местного масштаба: тарификационная комиссия произвела меня в директора картины! Это означало возможность самостоятельной работы и прибавку к зарплате аж в 110 рублей.

Это было время реформ на студии. Творческих работников «разобрали» по шести объединениям, которым дозволили самим составлять тематические планы и заказывать сценарии. Кроме того, размер постановочного вознаграждения поставили в зависимость от присваиваемой картине категории качества. Категорию устанавливала специальная комиссия. Каждому объединению полагались художественный руководитель, директор и редактор.

Меня прибило к объединению «Радуга». Здесь делали фильмы для детей и юношества. И здесь же снимался киножурнал «Хочу все знать». Каждый номер состоял из коротеньких очерков — «сюжетов» по полторы-две минуты — и «конференса», соединяющего эти «сюжеты».

Меня привел в журнал мой прежний шеф — Борис Львович Родин.

— Давай ты будешь директором на сюжетах, — предложил он, — а я на выпуске!

Мне повезло: режиссером всех сюжетов оказался Семен Райтбурт, а оператором — Юра Беренштейн. Интереснее всего было видеть, как работает мысль режиссера. Один из сюжетов должен был показать действие рентгеновского аппарата. Кажется чего проще: ставь человека перед экраном, а потом показывай тени его костей на пленке. Но Семен Липович, помахивая ключами (была у него такая привычка), предложил мне:

— Узнайте в детской больнице, нет ли у них предметов, проглоченных детьми?

И мы вместо скучных костей сняли целую коллекцию ключей, значков, монет, найденных в желудках при помощи рентгена. Забавно о серьезном.

А когда надо было рассказать о форме Земли, Райтбурт послал меня в планетарий:

— Могут ли они смоделировать лунное затмение?

И мы сняли сюжет о том, как древние астрономы по земной тени догадались о том, что Земля шар.

Я говорю «мы». Райтбурт имел привычку обдумывать свои мысли вслух. Это не было специальным приемом — просто режиссер делился тем, что ему самому казалось интересным. А я начинал чувствовать, что тоже снимаю кино.

Наступил 1961-й год. А вместе с ним пришла денежная реформа. Все упало в десять раз: цены, зарплаты, вклады. И денежный номинал. Вместо «сталинских портянок» в ходу теперь были «хрущевские фантики». Ничего, пережили...

Моя прежняя группа занималась монтажом и сдачей картины. Я почти никого не видел. Только однажды в квартире раздался звонок. На пороге стоял... Миссюра. А за его спиной пряталась Ада. Они были продрогшие и мокрые от весеннего дождя.

— Решили зайти погреться, — извинился Аркадий Вениаминович. — Погода же собачья!

— Да нет! — поправила его Ада. — Принесли билет на премьеру вашего фильма.

— В такой дождь! — изобразил я сочувствие и благодарность. А сам думал: «Эге! Вам, голубчики, просто некуда деться! Лишь бы побыть вдвоем!».

Но что-то такое трогательное было в их бесприютности, что я даже умилился. Напоил чаем и старался подольше оставаться на кухне.

А билет в Дом кино был красивый. Самое лучшее в нем была моя фамилия в списке создателей фильма «Плюс электрификация».

Та весна была примечательна еще одним.

В те дни в таинственных долинах,

Весной, при кликах лебединых,

Близ вод, сиявших в тишине,

Являться муза стала мне.

— Кто-то все время роется в моем столе! — ворчал по утрам Долин. Борис Генрихович был художественным руководителем «Радуги». И, кроме того, одним из ведущих режиссеров студии. И, кроме того, трижды лауреатом Сталинской премии. И, кроме того, он вел режиссерскую мастерскую во ВГИКе. При всем при том на студии он ютился в тесной общей комнате, и из всех властных атрибутов у него был только письменный стол.

— Опять все перерыто! — жаловался худрук. А я старался не смотреть в его сторону. Не мог же я признаться, что каждый вечер, оставшись в пустой комнате, принимался шарить по ящикам. Мне не нужны были деньги, или припрятанные шоколадки. Я

искал бумагу. Старался из каждой пачки брать понемножку. А как сказал пролетарский писатель Горький, «это не кража, а просто дележка».

Я вставлял бумагу в пишущую машинку, недоступную мне днем. И принимался выстукивать слова, которые вдруг зароились в моей голове и стали настойчиво проситься наружу. Конечно, это были Брэдбери, Лем и Азимов. А, может, и Сароян. Это они на-шептывали, наговаривали, надиктовывали вырывающиеся из-под моих пальцев фразы:

— *Вас ждет работа!*

— *Вас ждет работа!*

— *Вас ждет работа!*

Металлический голос разносится из громкоговорителей. В его властном тоне нет ничего человеческого. Он не груб, но настойчив.

Повинуясь ему, из бетонных домов парами и поодиночке выходят люди. Они собираются в центре площади, строятся, равняют ряды — все это без единого слова по-мерный счет громкоговорителей:

— *Семь часов сорок одна минута!*

— *Семь часов сорок две минуты!*

Я писал это задолго до съёмок на заводе. Мне еще предстояло услышать и надоедливый рев гудка, и звонки трамваев на людной улице. Трамваи будут подходить один за другим. Они выплеснут из своих распаренных недр мятых расплюснутых давкой мужчин в одинаковых серых костюмах. Шаркая ногами, они нестройно вольются в переулок, конец которого закрывает казенная надпись: «Станкостроительный завод им.С.Орджоникидзе». Это развитой социализм. То самое будущее, о котором я неумело пытался предупредить.

— *Семь часов сорок семь минут!*

Металлический голос сопровождает колонну по площади и по дороге, серой рекой льющейся среди бетонных берегов. Через равные промежутки вдоль обочины расставлены столбы с квадратными ящиками громкоговорителей.

— *Семь часов сорок восемь минут!*

Честное слово, я не смотрел тогда знаменитого фильма Ланга! Во ВГИКе нам показывали только русские и советские картины, и у меня перед глазами не стояли кадры из «Метрополиса». Я увидел их гораздо позже. Правда, в немом кино не было громкоговорителей. Их заменяла дергающаяся стрелка огромных часов. Но главное я угадал...

— *До обеда сорок минут!*

Главный конвейер. Сосредоточенно работают люди, Ползет лента с серыми деталями, Вспыхивают сигнальные лампы, Загораются и гаснут равнодушные глаза робота, Задумчиво мурлычет его электронный механизм.

А это уже Чаплин. И немножко Азимова. Но надо же дать слово Брэдли. И Сарюну:

Он давно уже мешает им сосредоточиться. Он отвлекает — этот негромкий протяжный звук. Есть в нем что-то беспокойное, что-то непонятное, но властно требующее внимания. Он сжимает сердце и холодит голову. Что это?

По дороге идет человек в белой рубашке, Он играет на трубе, и ветер ласково перебирает его светлые волосы.

Труба горит в лучах солнца, пылает металлическим пламенем и поет. Поет протяжную бесконечную мелодию. Слов нет, Они почти забыты — эти нужные сейчас слова. Но есть глаза, есть руки, И люди смотрят в глаза друг другу, Люди берутся за руки. Люди слушают, Люди молчат, Но это молчание теплого вечера, молчание прозрачного воздуха, молчание дружеской улыбки.

Человек играет на трубе...

Юрий Иосифович! — обратился я к оператору Беренштейну. — Мой приятель просил показать это кому-нибудь в кино...

Я неловко сунул ему в руки машинописные страницы.

— Скажи своему приятелю, что он может научиться писать! — Юрий Иосифович сделал ударение на слове «может» и лукаво посмотрел на меня.

Редактор журнала Виктор Миронович Злотов немногословно заметил:

— Хороший этюд для ВГИКа!

А директор объединения Буримский, уставший бороться с моими постоянными опозданиями, заключил:

— Так ты, оказывается, пишешь? Ну, тогда пиши!..

Я не совсем понял, что значило это «тогда»? Что я могу и дальше опаздывать, что ли? Но спрашивать было неудобно.

Сейчас половина десятого вечера. 17 апреля 2015 года. Я заканчиваю первый эпизод этой повести и думаю, как бы отнеслись к моему рассказу дорогие мне люди. Семен Липович и Юрий Иосифович, Виктор Миронович и Аркадий Вениаминович, Нелли Ионовна и Марианна Елизаровна? Бегло пробежали? Снисходительно улыбнулись? Или упрекнули в банальности изложения? Я не хотел никого обидеть. Наоборот, я хотел исправить тот непростительный грех, что не успел при их жизни высказать благодарность за то, что своим вниманием, своей мудростью, своим талантом они помогли мне найти хотя бы частицу моего «я». И пусть им будет хорошо там, где они теперь!